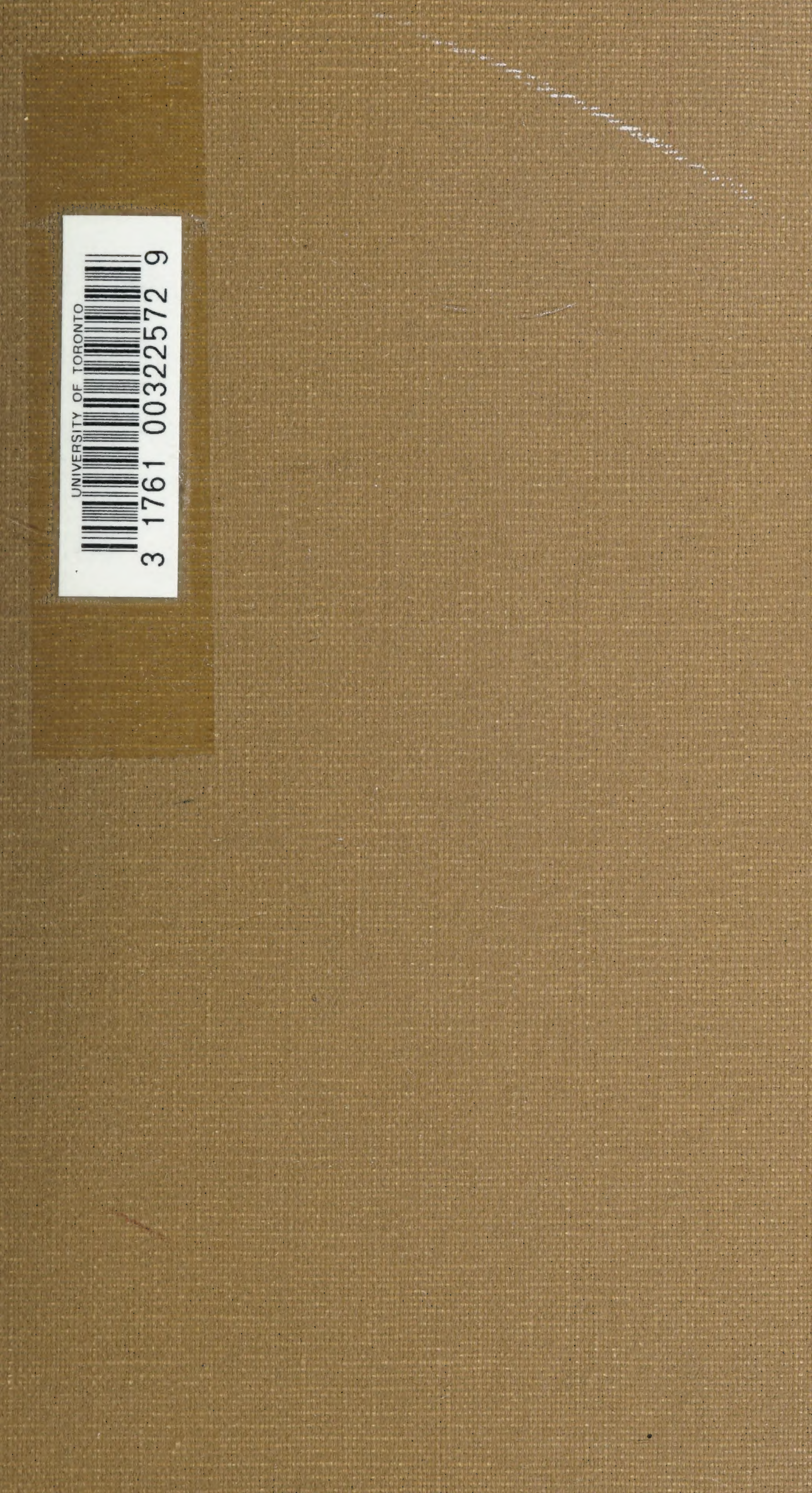

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00322572 9



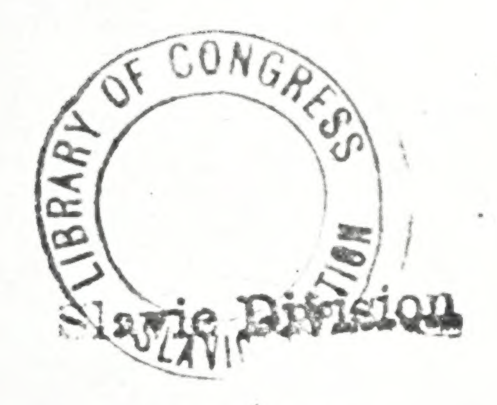
З. Гиппіусъ

ЧЕРНОЕ ПО

БѢЛОМУ

Пятая книга разсказовъ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе М. В. Пирожкова
1908



Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина. Екатерин. кан., 71—6.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Не занимаются

Только что распускались деревья. Въ блѣднопрозрачной аллеѣ монастырскаго сада сидѣли вмѣстѣ на лавочкѣ благообразный, полный, чистый монахъ и купчиха.

Купчиха пріѣхала въ монастырь изъ Твери, къ старцу Памфилію, къ которому ѣздили многіе, потому что онъ былъ извѣстенъ святой жизнью и считался прозорливцемъ.

Поздняя обѣдня отошла, но къ старцу еще не допускали. Сквозь едва опушенныя, нѣжныя деревья виденъ былъ соборъ невдалекѣ, паперть, покрытая народомъ. Въ сѣрокоричневой толпѣ богомольцевъ—черныя пятна монаховъ.

Солнце бѣлило землю дорожки. Тѣни отъ прозрачной листвы тоже были прозрачныя, блѣдныя, нѣжно-узорчатыя.

— Такъ, сударыня,—говорилъ о. Леон-

тій, монахъ, съ которымъ купчиха, пріѣхавшая еще съ вечера, успѣла познакомиться.—Дѣло Божье. Отецъ Памфилій прозрѣваетъ, многое прозрѣваетъ. Смотря по тому, съ какой нуждой къ нему идутъ. И простой народъ идетъ, и господа наѣзжаютъ.

Купчиха нерѣшительно вздохнула. Она была немолодая, но моложавая, полная; все въ лицѣ у нея было круглое, и глаза, и носъ, и ротъ; круглое—и пріятное. Гладко расчесанные волосы, чуть съ просѣдью, шляпка съ подвязушками, темноватое платье и кофта, хорошія. Въ рукахъ ридикюль.

— Дѣло-то мое очень трудное, батюшка,—сказала она.—Такое трудное дѣло. Вдова я, сына имѣю, одного разъединственнаго.

— Пьетъ, что ли?—спросилъ о. Леонтій, жмурясь отъ солнца.—Али непочтителенъ?

— Кабы пилъ! И не пьетъ, и ко мнѣ почтителенъ. Онъ почтителенъ, потому вдовѣю я давно, и сама хозяйка, а у насъ три лавки. Онъ у меня къ дѣлу хорошо пріученъ, однако я его всего могу лишить, потому капиталъ на мое имя. Но, конечно, одинъ онъ у меня.

— Такъ въ чемъ же горе-то ваше, матушка?

— Да вотъ и горе. Такое ужъ горе! Пошелъ ему двадцатый годъ—я его и женила, благословясь. Невѣста попалась—золото. Сирота, тихая, изъ себя миловидная, Васюту любитъ, лучше нельзя. А два года прошло—она у насъ и обезножь.

— Какъ такъ?

— Да внутреннее, говорятъ, поврежденіе. Родила несчастливо, а послѣ того и не встаетъ. Сама ничего, здорова, а какое ужъ! Полчеловѣка.

— Ага, такъ,—сказалъ о. Леонтій, качнувъ головой.—Болящая, значитъ. Что-жъ, исцѣленія бываютъ.

— Исцѣленіе ужъ гдѣ-жъ! Мы и въ Москву, по всѣмъ докторамъ ее возили, и къ чудотворцамъ ѣздили. Въ Саровѣ два раза были. Легче нѣтъ нисколько. А доктора говорятъ—окончательное внутреннее поврежденіе. Жить, говорятъ, сколько угодно можетъ, ну, больше, говорятъ, и не ждите ничего.

— Крестъ вамъ, матушка, посланъ,—наставительно сказалъ о. Леонтій.—А вы не ропщите.

Купчиха всплеснула руками.

— Видитъ Богъ, не ропщу! Я ее, Аксюту, какъ дочь жалѣю! Развѣ я на тяготу отъ нея ропщу? Вы дальше-то послушайте!

Она вынула изъ ридикюля платокъ, утерлась и словоохотливо и озабоченно продолжала:

— Ну, послѣ этого Вася мой ждалъ пождалъ, очень, конечно, безпокоился и грустилъ, а вдругъ и стало мнѣ извѣстно, что онъ въ моемъ же дому при живой женѣ съ Глашкой связался!

О. Леонтій опустилъ глаза.

— Взята была изъ милости къ намъ дѣвушка, тоже сирота и дальней родней намъ приходится... По дому она... Прислуживаетъ. Хаять не хочу, ничего дѣвушка, и здоровая такая... Ну, однако, ужаснулась я. Призываю Ваську; что это? говорю. Да правда ли? Признавайся, не то худо будетъ! А онъ — что бы вы думали? Я, говоритъ, мамаша, вполнѣ чистосердечно вамъ признаюсь. Я, говоритъ, мальчикъ молодой, только что въ бракъ вступилъ, и войдите, говоритъ, въ мое положеніе, что жена у меня Божьимъ произволеніемъ безъногъ.— Я ему: да какъ ты смѣлъ въ моемъ домѣ

себя допустить? Что же, говоритъ, мамаша, неужели вы желаете, чтобы я началъ внѣ родительскаго крова дебоширить? Я тогда отъ рукъ отбиться могу.—Какъ хочешь, отвѣчаю ему, а я тебя прокляну и всего лишу, потому что это грѣхъ великій при живой женѣ, она видитъ и убивается, и срамъ по городу, а главное,—что грѣхъ.

А онъ тутъ мнѣ все и выложилъ: вы родительница, ваша воля во всемъ. Какъ вы разсудите, такъ оно и будетъ. Ежели и вамъ угодно воздержаніе мое, и чтобы я стремленіе мое брачное въ себѣ побарывалъ, то и на это я согласенъ. Только одно, что я при такомъ положеніи долженъ дѣло оставить и въ монахи окончательно постричься, потому что тутъ требуется неусыпное вниманіе, и чтобы соблазновъ кругомъ не было. А какъ женатому иночество не дозволяется, то и Аксюту должно въ женскомъ монастырѣ постричь.—Видите, куда метнулъ. Я просто обомлѣла вся!—Иродовы твои глаза,—кричу, да вѣдь ты законъ нарушилъ!—А коли желаете, мамаша, чтобы по закону все было и въ монастырь вамъ неугодно меня отпустить, то я могу по закону сейчасъ разводъ завести, и, какъ на

этотъ счетъ нынче не строго, то и получится назначеніе, чтобы Аксюту отъ меня выставить, а на Глашкѣ я сейчасъ же законнымъ бракомъ обвѣнчаюсь. Только позвольте вамъ доложить, мамаша, что это по нашему сословію хуже страмъ, да и Аксюту я всячески жалѣю и уваженіе ей готовъ всячески оказывать. Впрочемъ же, я самъ мое окаянство понимаю и на вашу волю во всемъ рѣшительно отдаюсь и, какъ вы укажете, такъ и будетъ.

О. Леонтій слушалъ, прижмуривъ глаза и покачивая головой.

— Ой, грѣхъ-то, грѣхъ-то!

Купчиха сморкалась и плакала.

— То-то грѣхъ, сама знаю—грѣхъ! Это-то пуще меня и доканываетъ! Неужли-жъ Васютѣ да въ иноки идти? Мальчикъ молодой, усердія къ иночеству такого нѣтъ, что-жъ онъ меня-то бобылкой оставитъ? Единственное рожденіе вѣдь онъ мое! Къ дѣлу теперь привыкшій, не пьющій. Какъ тутъ по-Божьему разсудить? Говорю ему еще: а ну Глашка да забеременитъ?—Очень, говоритъ, это все возможно. Однако и въ томъ ваша воля: выкиньте внученка, какъ пащенка. Слова не скажу. Глаша меня жа-

лѣетъ, но, впрочемъ, дѣвушка богобоязненная, изъ вашей воли никакъ не выйдетъ. Что Аксютѣ обидно, это я тоже очень хорошо понимаю, однако, при чистосердечномъ моемъ покаяніи, жду, что вы, мамаша, прикажете; велите въ монастырь — и въ монастырь пойду. Разводъ—такъ разводъ.

— Мудрствуете вы очень въ міру,—сказалъ о. Леонтій.

— Батюшка! Да не мудрствовать, а по-Божьему рѣшить надо! Вѣдь сердце мое—материнское! Грѣхъ-то мнѣ страшенъ, да и сердце-то мое болитъ! Затмилась мыслями, какъ есть ничего не знаю! Вотъ и подумалось: пусть старецъ Божій разсудитъ, глупую меня на путь наведетъ, что я должна своему дѣтищу указать!

О. Леонтій, чистый и плотный, вдругъ взглянулъ на купчиху со строгостью.

— Такъ. А только вы это, матушка, напрасно.

— Какъ напрасно?

— Къ старцу Памфилію съ этакимъ дѣломъ. Онъ этакими дѣлами не занимается.

— Какъ не занимается?

— Да вы сами разсудите: вѣдь ваше дѣло мірское, соблазнительное, грѣховное

дѣло. Старецъ міра удаляется, тѣмъ паче соблазновъ его. Иноку вообще не подобаетъ въ эти дѣла вникать. Инокъ со своими искушеніями всю жизнь борется, а вы тутъ на его сужденіе мірскія страсти представляете. Молитвенники мы ваши, а разсуждать такія дѣла — это, матушка, соблазнъ грѣховный. Искушеніе это вамъ.

Купчиха опѣшила, смотрѣла, раскрывъ круглый ротъ. Мимо шли богомольцы, послушники. Туманныя, узорныя тѣни чуть шевелились на дорожкѣ. Пахло землей и тополевыми почками.

— Къ старцу сходите, — продолжалъ о. Леонтій, — а только я вамъ не совѣтую. Вы бы ужъ лучше, матушка, если сомнѣваетесь, къ бѣлому духовенству обратились.

Купчиха заплакала.

— Что бѣлое! Они по требамъ больше. Такое дѣло, тутъ, думалось, прозорливецъ Божій одинъ указать можетъ.

Богомольцы тянулись теперь по аллеѣ рядами.

— Не къ старцу ли?—заволновалась купчиха.—Нѣтъ ужъ, отецъ Леонтій: я пойду. Что же, ѣхала-ѣхала... А тутъ вдругъ—не занимается! Я ужъ пойду!

У кельи старца, одинокой бревенчатой избушки, крошечной, у запертой двери, стояла, тѣснясь, плотная терпѣливая толпа. Давно стояла, смирно, молча, всѣ бокъ-о-бокъ. Женщинъ было гораздо больше, и всѣ какъ-то на одно лицо, тихія, скорбныя, темныя, въ платкахъ. Купчиха не хотѣла проталкиваться, но ее безмолвно и дружно пропустили впередъ.

— Не выходилъ еще?—несся шопотъ справа.

— Выйдетъ,—шелестѣло слѣва.

— Молится.

— А иной разъ и не выйдетъ.

— Выйдетъ.

— Выйдетъ.

Келья стояла въ сторонкѣ, на полянкѣ, вся подъ солнцемъ, и тѣни здѣсь не было.

Ждали, подъ солнцемъ ждали, ждали долго, тихой толпой. Наконецъ, вышелъ.

Сначала дверь стукнула, отворилась, и вышелъ. Маленькій, сѣденькій, подпоясанный, весь подъ солнцемъ.

Толпа заволновалась, сжалась, потянулись руки съ чѣмъ-то, съ платочками, со свѣчками, а то пустыя, горсточкой, молящія благословенія.

— Батюшка.

— Прими, батюшка.

— Батюшка нашъ.

Руки, трясущіяся, корявыя, темныя, тянулись къ о. Памфилію. Онъ широко благословлялъ, инымъ говорилъ что-то, давалъ что-то, принималъ что-то.

— Во имя Отца... Во имя Отца... Духа... Сына и Духа. Раба Божья... Во имя Отца...

Купчиха, сама не зная какъ, осмѣлѣла:

— Батюшка! Отецъ Памфилій! Прими ты меня грѣшную... Побесѣдовать съ тобой... Батюшка!

О. Памфилій обернулъ къ ней свѣтлое маленькое личико.

— Иди, иди. Иди, милая, въ келейку. Пожди. Сейчасъ я.

Купчиха, тяжело дыша отъ внезапно охватившаго ее умиленія, пошла въ дверь. Внутри было темновато и тѣсно. Пахло деревомъ, воскомъ, масломъ. Въ углу три лампады горѣли передъ образами. На столѣ лежали кипа тонкихъ свѣчей и книга.

Купчиха долго ждала, не смѣя присѣсть на толстый обрубокъ передъ столомъ. Она уже привыкла къ сумраку кельи, и, когда старецъ вошелъ, онъ ей показался такимъ

же свѣтлымъ, какимъ былъ подъ солнцемъ.

Она грузно стала на колѣна и ловила его сухенькую ручку.

— Батюшка... Батюшка...

— Богу кланяйся,—сказалъ старичокъ строго, впрочемъ, сейчасъ же опять просвѣтлѣлъ.

— Батюшка... Прозорливецъ нашъ... Научи меня, глупую... Грѣха боюсь... Сынъ у меня, Васюта, одинъ разъединственный...

И она было начала, торопясь, тѣми же словами, какъ о. Леонтію, разсказывать свое „дѣло", но вдругъ точно забыла его и не досказала, а старецъ не дослушалъ, глядѣлъ поверхъ, но ласково-ласково, утѣшительно, сказалъ:

— Богу молись, раба Божія... Какъ имя-то?

— Анна, батюшка.

— Богу молись, раба Божія Анна. Молись Ему, милосердому, Онъ проститъ грѣхи... Пуще всего Господу молись.

— Батюшка, сынъ у меня...

— Какъ имя-то?

— Василій, батюшка, а невѣстка Аксинія.

Старецъ что-то зашепталъ, поминая Васи-

лія и Аксинью. И такое сіяніе шло отъ его лика на купчиху, что она уже ничего не помнила, кромѣ своего радостнаго, истомляющаго умиленія и вся исходила сладкими, хорошими слезами.

— Спасетъ Господь, спасетъ, молись Ему прилежнѣе, о грѣхахъ думай, спасетъ Господь Всеблагій-Всемилостивый, — шепталъ старецъ, благословляя плачущую.— Во имя Отца и Сына... Вотъ кусочекъ просфорки возьми... Возьми, милая... Богу-то молись... Пріѣзжая, говоришь? Изъ Твери, говоришь? Вотъ вечерню отстой и поѣзжай нынче же съ миромъ. Поѣзжай, поѣзжай... Господь да благословитъ.

Купчиха шла отъ старца по монастырской аллеѣ, вся заплаканная, вся умиленная, все забывшая; лицо у нея было въ красныхъ пятнахъ. Ей навстрѣчу попался о. Леонтій.

— Отъ старца, матушка?

Она взглянула на о. Леонтія круглыми, счастливыми, непонимающими глазами.

— Что-жъ, сказалъ онъ вамъ что? Подалъ совѣтъ?

— Сказалъ? Сказалъ, сказалъ! Ахъ, Господи, сподобилась я, грѣшная! Святой старецъ, воистину святой! Такъ онъ во

мнѣ всю душу святостью своей всколыхнулъ! Я передъ нимъ стою, какъ дура, плачу, плачу, вотъ исхожу слезами, слова не могу вымолвить, а онъ это мнѣ: Богу, говоритъ, молись... Спасетъ, говоритъ, Господь. Объ именахъ спросилъ, его-то молитвы до Бога доходчивы... Мы-то Бога забыли...

— Еще пойдете къ нему, матушка?

— Не велѣлъ, домой велѣлъ въ ночь ѣхать. Вотъ вечерню отстою... Господи, и сподобилась же я...

Слезы у нея опять полились; круглые счастливые глаза скоро-скоро замигали.

Когда она пошла, торопясь, по аллеѣ къ монастырской гостиницѣ, о. Леонтій посмотрѣлъ ей вслѣдъ съ привычно-равнодушнымъ соболѣзнованіемъ, покачалъ головой и вздохнулъ.

904

Обыкновенная вещь

День прошелъ, приблизительно, какъ всѣ дни, и профессоръ Ахтыровъ, хотя и усталъ, но надѣялся, отдохнувъ съ полчаса послѣ обѣда, заняться вечеромъ еще своими „Бесѣдами о біологіи“. Онъ подготовлялъ третій выпускъ.

Профессоръ Ахтыровъ, зоологъ, читалъ и въ университетѣ и на высшихъ курсахъ и пользовался завидной и вполнѣ заслуженной популярностью. Уже не очень молодой, спокойный, видный, съ окладистой черной бородой и пріятными, добрыми глазами, всегда увѣренный и положительный, начитанный, — онъ среди молодежи снискалъ себѣ еще репутацію человѣка крайне „честнаго“ и „отзывчиваго“. У него были „убѣжденія“. И для пріобрѣтенія этой репутаціи онъ не сдѣлалъ никакихъ усилій, потому что дѣй-

ствительно былъ честенъ, и отзывчивъ, и вѣренъ своимъ убѣжденіямъ.

Года три тому назадъ, во время университетскихъ волненій, онъ за свою стойкость отчасти пострадалъ; студенты дѣлали ему оваціи, курсистки поднесли адресъ. Потомъ все окончилось благополучно.

Теперь тоже разнесся слухъ, что Ахтыровъ долженъ пострадать. И сегодня, когда онъ вернулся изъ университета, гдѣ лекціи не читалъ, а только разговаривалъ со своей аудиторіей и гдѣ такъ много кричали, его уже ожидала дома депутація курсовъ. Курсистки въ черныхъ платьяхъ сидѣли полукругомъ въ его гостиной, а, когда онъ вошелъ, одна поднялась и прочла адресъ, на который онъ долго и растроганно отвѣчалъ; потомъ попросилъ всѣхъ барышень сѣсть, и стали разговаривать просто и подружески. Барышни были милыя, немного робкія. Говорилъ опять Ахтыровъ, увѣренно, бодро и разумно, очень прогрессивно, и всѣмъ казалось, что все вѣрно и все рѣшительно ясно, и Ахтыровъ и курсистки остались довольны другъ другомъ.

Послѣ курсистокъ Ахтыровъ еще поѣхалъ на одно дневное собраніе, которое

тоже его удовлетворило во многихъ своихъ частяхъ, и только послѣ собранія онъ вернулся окончательно домой, къ самому обѣду.

Квартира у него была небольшая, безъ претензій, на Петербургской сторонѣ. Въ чистой, длинной столовой семья сѣла за обѣдъ. Ахтыровъ, его жена Вѣра Николаевна, десятилѣтняя Маничка и Владя, совсѣмъ уже большой мальчикъ, гимназистъ четвертаго класса. Впрочемъ, ему трудно было дать тринадцать лѣтъ: высокій, но тонкій, тщедушный, блѣдный, съ маленькимъ серьезнымъ лицомъ.

Ахтыровъ очень любилъ своихъ дѣтей, хотя не баловалъ ихъ; относился разумно, просто и спокойно.

Очень любилъ и Вѣру Николаевну, женщину милую, тихую, съ обыкновеннымъ, скорѣе пріятнымъ, моложавымъ лицомъ.

Въ душѣ онъ, впрочемъ, считалъ ее недалекой и необразованной, неспособной понимать много,—вѣдь она даже на курсахъ не была, институтка. Онъ съ ней почти никогда и не разговаривалъ; но это нисколько не тяготило и не мучило его, и они прожили пятнадцать лѣтъ въ завидномъ согласіи, искреннемъ мирѣ и благополучіи.

У обоихъ былъ хорошій, добродушный характеръ.

Ахтыровъ умѣрялъ иногда слишкомъ пылкое отношеніе Вѣры Николаевны къ дѣтямъ, снисходительно журилъ ее за баловство, но съ годами и это какъ-то обтерлось, улеглось.

— Не усталъ ли?—спросила Вѣра Николаевна мужа, когда сѣли за обѣдъ.—Ну, что жъ, все благополучно?

— Ничего. Передай мнѣ пирожокъ. Отчего Владя въ платкѣ?

— Да ему нездоровится. Я его въ гимназію нынче не пустила.

— Ну, матушка, ты сейчасъ готова и не пустить и въ платокъ закутать! Дѣти очень здоровыя. Не помню, чтобы серьезно болѣли. Всякую болѣзнь ты раздувала. Насморкъ, а ты ужъ съ припарками бѣгаешь.

— Инфлуэнца была...

— Если раціонально вести себя, инфлуэнца не опасна. Владя блѣденъ, но у него здоровый организмъ. Ты что чувствуешь, Владя?

— Ничего. Только холодно. И ѣсть не хочется.

— И не ѣшь, если не хочется. Пустяки. Къ завтраму все пройдетъ.

Обѣдъ кончился въ молчаніи. Ахтыровъ обдумывалъ семнадцатую „бесѣду“, за которую хотѣлъ сегодня приняться, отдохнувъ. Но отдыхать не пришлось. Позвонили. Два студента. У Ахтырова было правило: всегда, во всякое время принимать студентовъ. И онъ ушелъ съ ними въ кабинетъ.

Оттуда часа полтора слышался мягкій, увѣренный рокотъ профессорскаго голоса. Студентовъ не было слышно.

Когда они ушли, Ахтыровъ сѣлъ писать и проработалъ до поздняго вечера. Работалось ему хорошо, и онъ остался доволенъ тѣмъ, что написалъ.

На другой день Вѣра Николаевна объявила, что Владѣ хуже, и что она послала за докторомъ. А въ теченіе недѣли выяснилось, что у Влади плевритъ, и, кромѣ ихъ домашняго доктора, къ нимъ сталъ иногда пріѣзжать еще другой, профессоръ, съ которымъ Ахтыровъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ.

Профессоръ, послѣ совѣщаній съ домашнимъ докторомъ и подробныхъ наставленій Вѣрѣ Николаевнѣ, заходилъ, обыкновенно,

въ кабинетъ къ Ахтырову, если тотъ былъ дома, говорилъ, что болѣзнь Влади—серьезная и затяжная; а потомъ закуривалъ сигару, и они бесѣдовали на разныя животрепещущія общественныя темы, такъ какъ докторъ не былъ узкимъ спеціалистомъ.

Ахтыровъ давно зналъ, что Владя боленъ серьезно, что нужно серьезное лѣченіе и терпѣніе; ему было это очень непріятно и больно за своего мальчика. Онъ каждый день, въ свободное время, заходилъ въ комнату больного, разспрашивалъ обо всемъ жену и садился у постели.

Въ комнатѣ свѣтъ былъ заставленъ, пахло чѣмъ-то теплымъ, влажнымъ и острымъ, не слышно двигалась Вѣра Николаевна да копошилась старая няня Авдотьюшка.

Ахтыровъ хотѣлъ было, чтобы взяли сидѣлку, но жена воспротивилась. Авдотьюшка была еще совсѣмъ бодрая, сильная старуха, она вынянчила и Вѣру Николаевну и обоихъ дѣтей. Владя ее любилъ, ему былъ бы тягостенъ чужой человѣкъ.

Ахтыровъ, садясь у постели, видѣлъ маленькое, худенькое, точно птичье, лицо въ подушкахъ, съ затуманенными глазами,

искаженное болью. Отъ худобы по щекамъ шли длинныя стариковскія складки.

Владя почти все время стоналъ, а если говорилъ, то всегда одно и то же:

— Охъ, мама, охъ, охъ, усталъ, усталъ... Охъ, усталъ. Я усталъ... Бокъ усталъ...

Иногда глаза у него прояснялись, онъ узнавалъ отца, чуть поворачивалъ къ нему голову:

— Папочка... Ты?

Пытался какъ-будто улыбнуться, отчего складки еще глубже собирались около рта, а потомъ опять глаза опускались, и онъ начиналъ тихонько стонать.

Ахтыровъ уходилъ изъ спальни съ непріятнымъ, болѣзненнымъ и досаднымъ чувствомъ. У него сердце ныло жалостью къ своему единственному сыну. Хоть бы вспрыскиванія ему какія-нибудь дѣлали. Впрочемъ, онъ вполнѣ довѣрялъ профессору.

И сколько времени это еще протянется? Дома все перевернулось, жена нервничаетъ, переутомляется, Маничка ходитъ какая-то заброшенная.

Каждый день, возвращаясь съ лекцій, онъ спрашивалъ:

— Ну что, лучше?

И каждый день ему отвѣчали:

— Все такъ же.

Въ концѣ-концовъ, онъ даже привыкъ къ этому отвѣту, какъ привыкъ къ затѣненному свѣту спальни, частому дыханью мальчика и его хриповатымъ стонамъ.

Время было полно событій. Въ университетѣ шли волненія, хотя лекціи повсюду возобновились, и Ахтыровъ занятъ былъ вдвойнѣ. А тутъ еще его брошюра о витализмѣ, которую надо было выпустить непремѣнно къ Пасхѣ. Стоялъ ужъ февраль.

Студенты ходили къ Ахтырову почти каждый день, и онъ всегда ихъ принималъ.

Однажды онъ встрѣтилъ трехъ на лѣстницѣ, возвращаясь домой; вмѣстѣ съ ними вошелъ, отворивъ дверь своимъ ключомъ, и прямо провелъ гостей къ себѣ въ кабинетъ.

Студенты пришли поговорить съ Ахтыровымъ по поводу его послѣдней лекціи о законахъ эволюціи, о дарвинизмѣ. Эта лекція, при всей своей строгой научности, прошла очень оживленно и шумно. Студенты надѣялись получить еще какія-нибудь дополнительныя свѣдѣнія въ частной бесѣдѣ профессора.

Ахтыровъ тотчасъ же и съ большой охотой сталъ говорить о предметѣ. Въ сущности онъ повторялъ то, что уже говорилъ, но голосъ у него былъ такой увѣренный, сочный, немного тягучій, ясный, что студентамъ, какъ и самому Ахтырову, казалось, что онъ все дополняетъ и развиваетъ свою мысль, которая, при всей научной цѣнности и поэтому нѣкоторой сложности, еще и чрезвычайно остра, реально-жизненна, двигательна.

Студенты курили, курилъ и Ахтыровъ. Синій, тяжелый дымъ ползалъ по комнатѣ. Рокочущій и медленный голосъ Ахтырова мѣрно переливался подъ этимъ дымомъ; яснѣе и тверже выскакивали, всплывали поверхъ слова и фразы, на которыхъ профессоръ дѣлалъ удареніе.

„...Біогенетическій законъ...“ „Вопросъ о приспособленности и неприспособленности отдѣльныхъ индивидуумовъ...“ „Смѣна функцій...“ „Телеологія и причинность какъ принципы объясненія...“

Дверь въ кабинетъ быстро отворилась. Ахтыровъ, сквозь очки и дымъ, взглянулъ, съ недовольнымъ удивленіемъ, кто мѣшаетъ, и не сразу разобралъ, что это вошла жена.

Да она и никогда не входила къ нему, когда бывали студенты.

Не взглянувъ на студентовъ, она громко сказала Ахтырову:

— Пойди сюда.

И вышла тотчасъ, притворивъ дверь. Еще больше изумившись, недовольный Ахтыровъ пошелъ, однако, къ двери.

— Извините, господа... На одну минуточку.

Жена стояла за дверью. Ахтыровъ хотѣлъ сказать: „ну, что тебѣ?“ или „что такое?“ но она заговорила раньше:

— Владя умираетъ, — произнесла она спокойнымъ, не особенно тихимъ голосомъ.— Пойдемъ къ нему.

— Что?—сказалъ Ахтыровъ съ неимовѣрнымъ, все затемняющимъ недоумѣніемъ.—Что Владя?

— Умираетъ, — повторила жена. — Иди скорѣе.

Сама двинулась отъ него и пошла по коридору.

Ахтыровъ почувствовалъ, какъ у него глупо, мелкой дрожью, задрожали колѣна отъ недоумѣнія и тупого, безъ всякой опредѣленности, страха. Что это она сказала?

Ему захотѣлось и разсердиться и разсмѣяться. Конечно, онъ зналъ, что Владя серьезно боленъ. Серьезно, т.-е. опасно. Опасно... т.-е. опасно для жизни. Это онъ даже самъ говорилъ себѣ и отъ доктора слышалъ. А все-таки о смерти Влади ни разу не думалъ, именно о смерти, именно о Владиной. И вдругъ—она говоритъ—умираетъ. Что такое? Какъ это можетъ быть?

Онъ вошелъ въ кабинетъ, трясущійся отъ слѣпого, изумленнаго страха, но опомнился немного, ободрился при видѣ знакомыхъ лицъ студентовъ и привычныхъ синихъ полосъ дыма (все вѣдь было совершенно такое же, какъ и пять минутъ назадъ, когда жизнь шла нормально и обычно)—однако, сказалъ, улыбаясь особенно ласково и просяще, почти конфузливо:

— Извините, господа... Я долженъ прервать нашу интересную бесѣду... У меня сынъ... Онъ нездоровъ... Немного боленъ... Я долженъ пойти къ нему.

Студенты тотчасъ же встали и начали прощаться, соболѣзнующе стараясь не шумѣть. Ахтыровъ все такъ же улыбался, провожая ихъ, но колѣна у него уже не переставали дрожать.

И когда студенты ушли, онъ на цыпочкахъ отправился въ спальню. Онъ не сомнѣвался, что тутъ какоет-о недоразумѣніе, но у двери опять забоялся... Не за Владю былъ страхъ, а просто страхъ страшнаго.

Онъ тихонько отворилъ дверь и вошелъ. Ожидалъ затѣненной свѣчи, можетъ быть докторовъ у постели, но никого, кромѣ жены и Авдотьюшки, не было, и лампа на столѣ горѣла ярко, даже безъ абажура.

Постель стояла посрединѣ, изголовьемъ къ стѣнѣ. На подушкахъ лежало что-то маленькое, темненькое и оттуда слышался переливчатый, медленный хрипъ. Жена стояла въ ногахъ постели, молча, не двигаясь, ничего не дѣлая, и смотрѣла на темненькое пятно, откуда шелъ хрипъ.

Ахтыровъ подошелъ и тронулъ ее за рукавъ.

Она тотчасъ же обернулась и, когда онъ что-то зашепталъ, отвела его въ дальній уголъ комнаты.

— Хуже, что ли?—шепталъ Ахтыровъ.— Когда? За докторомъ надо...

Жена сказала ему совершенно тихо, но не шопотомъ:

— Доктора были. Только что уѣхалъ

Васильцевъ, передъ тобой. Онъ хотѣлъ остаться, но я просила уѣхать. Зачѣмъ? Мы будемъ. Сдѣлать ничего нельзя. Это агонія.

— Какъ... агонія?

— Ему еще вчера было худо. Надежды было мало. Сегодня я съ утра хотѣла тебѣ сказать... Ты уѣхалъ. Потомъ онъ очнулся утромъ, когда его причащали...

— Причащали?..

— Да, такъ былъ радъ. А послѣ началось. Подойди, не бойся, онъ безъ сознанья. И ужъ не страдаетъ.

Она взяла его, большого, растеряннаго, онѣмѣвшаго, за руку и повела къ постели. Ахтыровъ покорялся ей какъ ребенокъ, ничего не думая, только боясь и опять дрожа. Вѣра Николаевна казалась ему кѣмъ-то инымъ; взрослымъ, все знающимъ, все понимающимъ человѣкомъ, а онъ былъ маленькій, безпомощный и только послушный.

Но у постели онъ все-таки не смогъ пересилить тупого ужаса и взглянуть на то что было Владей, туда, гдѣ именно и совершался этотъ потрясающій изумленіемъ ужасъ. Ахтыровъ присѣлъ на стулъ и закрылъ рукой глаза. Тамъ—все хрипѣло,

только рѣже, успокоительнѣе. Вѣра Николаевна стояла неподзижно, такъ тихо, точно ея и не было. Изъ-подъ руки Ахтыровъ видѣлъ няню Авдотьюшку, которая стояла на колѣняхъ и порою тихо-тихо, безъ вздоха, крестилась и кланялась. На стѣнѣ ея большая тѣнь тоже мѣрно склонялась и подымалась.

Потомъ Ахтыровъ почувствовалъ, что Вѣра Николаевна нагнулась къ нему и съ тихой, властной нѣжностью обняла его голову.

— Ты не плачь, милый, не надо,—шепнула она.—Не надо. Это Божья воля. Ему легко теперь. Не надо плакать, милый.

Слова были простыя-простыя, и голосъ спокойный, и Ахтыровъ опять весь сжался подъ нимъ, какъ измученный, ничего не понимающій ребенокъ.

Онъ не зналъ, сколько времени прошло. Очнулся, когда хрипа уже больше не было. Вѣра Николаевна подошла къ изголовью, наклонилась... Потомъ встала на колѣна и припала головой къ одѣялу.

Няня Авдотьюшка громко сказала:

— Господи, прими...

Дальше Ахтыровъ не разслышалъ, по-

тому что сорвался съ мѣста и, стараясь не взглянуть на постель даже нечаянно, кинулся вонъ.

Въ столовой онъ вдругъ увидѣлъ Маничку, блѣдную, большеглазую, тихую.

Она бросилась къ нему.

— Папочка! Папочка! Ты...

Но онъ шарахнулся отъ нея: и она казалась ему страшной, всѣ страшными. Онъ прошелъ быстро, точно убѣгая, въ кабинетъ, легъ на диванъ и тупо, животно закрылъ лицо подушкой.

У Ахтырова, за всю его долгую жизнь, никто не умиралъ. Отца онъ не помнилъ, а мать была еще жива и жила въ провинціи у замужней сестры. Такую обыкновенную вещь, какъ смерть, Ахтыровъ видѣлъ только издали, бывая на различныхъ панихидахъ и похоронахъ. И, вѣроятно, въ душѣ его было твердое, совершенно безсознательное убѣжденіе, что ничего подобнаго съ нимъ, у него, случиться не можетъ. Бываетъ только у другихъ.

Когда квартира наполнилась незнакомыми людьми, шорохомъ, шопотомъ, запахомъ ладана, а утромъ и вечеромъ священники служили панихиду—стало казаться,

что это другая квартира, чужая, и надо куда-то уйти.

Но уйти было нельзя, и даже нельзя было показывать страха, и что-то надо было дѣлать,—а что - Ахтыровъ не зналъ.

На панихидѣ онъ стоялъ со свѣчкой въ углу и только старался не глядѣть туда, гдѣ было это главное, страшное, изумительное, отъ чего у него дрожали колѣни.

Страшное... но какое? Если это былъ Владя,—что онъ, какой онъ теперь? Нѣтъ, лучше не глядѣть. Невозможно взглянуть.

Вѣра Николаевна, все такая же, знающая, большая, тихая, подходила къ нему, обнимала его, плакала безмолвно, много, точно сама не замѣчая, а потомъ Ахтыровъ искоса видѣлъ, какъ она увѣренно, просто и нужно подходила къ столу, что-то поправляла, что-то дѣлала, и подолгу оставалась тамъ близко, недвижная.

Ахтыровъ растерянно здоровался съ знакомыми, на разспросы отвѣчалъ жалкими улыбками, не зналъ, что слѣдуетъ и что стыднѣе: улыбаться или плакать.

Онъ и плакалъ разъ, но горя не испыталъ. Все было заполнено изумленіемъ и страхомъ.

Когда всѣ чужіе уходили—въ залѣ оставалось только то, страшное, да монахиня-читалка съ низкимъ мужскимъ голосомъ.

Вѣра Николаевна сидѣла подолгу въ залѣ одна да няня приходила, шептала громко, кланяясь и крестясь въ уголку.

Было жарко отъ свѣчей и дымно, мутно отъ голубого ладана. Ахтырову однажды показалось, что и ему надо остаться, и онъ остался, сидѣлъ рядомъ съ Вѣрой Николаевной на отодвинутомъ въ сторону диванѣ, съ прикрытыми рукой глазами, какъ всегда.

Отъ читалки ему тоже было страшно, она тоже была изъ того непонятнаго міра, который вдругъ ворвался, и все сразу перемѣстилось. И слова, которыя она произносила, были оттуда же, непривычныя, чуждыя и очень страшныя, хотя совершенно непонятныя.

„... прибѣжище мое, Богъ мой, и уповаю на Него“,—торжественно и монотонно гудѣлъ низкій голосъ.—„Яко той избавитъ тя отъ сѣти ловчи и отъ словесе мятежна: плещма Своима осѣнитъ тя, и подъ крилѣ Его надѣешися“... „Не убоишися отъ страха нощнаго, отъ стрѣлы, летящія во дни, отъ вещи, во тмѣ преходящія“...

Ахтыровъ переставалъ слушать, да и нельзя было долго слушать, гудѣнье словъ сливалось въ одно угрожающее рыканье. Жарко и пахуче дышали свѣчи въ голубомъ туманѣ, и порою казалось, отъ вздрогнувшаго пламени, что и тамъ что-то вздрагиваетъ, шевелится подъ тяжелымъ золотомъ покрова. Покровъ былъ закиданъ срѣзанными цвѣтами, которые не пахли, убитые ладаномъ.

Черная монахиня перевернула страницу. Кашлянула, и еще ниже, гулче и страшнѣе зачитала:

„...Аще не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущіе: аще не Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегій. Всуе вамъ есть утренневати: возстанете по сѣдѣніи ядущіи хлѣбъ болѣзни, егда дастъ возлюбленнымъ сонъ. Се, достояніе Господне сынове, мзда плода чревняго...“

— А, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ— Богъ?...—какъ-то даже не мыслью почти, а одними словами, извнѣ, непривычно и трусливо подумалъ Ахтыровъ. Но это сейчасъ же отпало отъ него и не возвратилось.

Вѣра Николаевна, которая все сидѣла около него, не шевелясь, вдругъ обернула

узкое, точно стянутое, лицо съ опухшими, ясными глазами, обняла его за плечи, какъ часто теперь обнимала, и проговорила шопотомъ:

— Поди, милый; пойдемъ со мною. Посмотри, какой нашъ мальчикъ хорошенькій. Ему хорошо теперь. Не надо такъ. Пойди, не бойся, ему хорошо.

Онъ покорно и послушно всталъ за нею; и она, все обнимая его, подвела близко. Ахтыровъ безмолвно покорился; значитъ, надо смотрѣть, нельзя иначе; и посмотрѣлъ.

Мальчикъ лежалъ такой чистенькій, свѣтленькій, складокъ на лицѣ уже не было, и лицо было такое серьезное, тихое и, главное, такое знающее; и отъ этого онъ казался похожимъ на мать, у которой, сквозь измученныя живыя черты, лицо было теперь тоже знающее.

Ахтыровъ, посмотрѣвъ —не сталъ меньше бояться, но со страхомъ, жадностью, изумленіемъ и непониманіемъ вглядывался въ мертвое лицо. Самое непонятное было то, что это именно Владя, онъ его узнавалъ, и даже страхъ, не проходя, вливался теперь въ разъѣдающую жалость къ своему сыну

и къ самому себѣ, его потерявшему. Онъ уже его не любилъ—кого же было любить? И тѣмъ невыносимѣе дѣлалась эта колючая жалость къ себѣ. А рядомъ съ ней стоялъ, не отступая, и безсмысленный, весь темный, унизительный ужасъ.

Вѣра Николаевна съ нѣжностью, точно живому, пригладила Владѣ волосы и поправила маленькія, еще слабыя, еще не застывшія, ручки. И опять въ ея движеніяхъ Ахтырову показалось что-то простое, нужное, знающее. И почти страшное и въ ней, какъ въ этомъ тихо, значительно и тяжело лежащемъ, чистенькомъ мальчикѣ.

Ахтыровъ неловко пригнулся къ золотому покрову, который холодилъ его, царапалъ ему носъ,—пригнулся и заплакалъ, мутя очки.

Монахиня читала:

— „Господь просвѣщеніе мое и Спаситель мой, кого убоюся. Господь защититель живота моего, отъ кого устрашуся"...

Но Ахтыровъ уже ничего не слышалъ и о Богѣ больше не вспоминалъ, а только безпомощно плакалъ скупыми, стыдными слезами, мутя очки.

И Вѣра Николаевна опять нѣжно и жалостливо обняла его за плечи и увела изъ комнаты.

Потомъ Владю хоронили. Было много чужихъ людей, знакомыхъ и всякихъ. На похоронахъ все было просто и шумно. Въ квартирѣ прибрали по старому, только долго еще оставался странный, смѣшанный запахъ, чуждый дому, напоминавшій о страхѣ и о невозможности, которая была.

Ахтыровъ никого не принималъ, никуда не ѣздилъ и не работалъ. Онъ съ робкимъ недоумѣніемъ смотрѣлъ на жену, которая дѣлала то же, что и прежде, заботилась объ обѣдѣ и о Маничкиномъ пальто. Голосъ только сталъ у нея тише.

Кстати для Ахтырова и лекціи прекратились, такъ что можно было оставаться дома.

Онъ уже стыдился своего ребяческаго состоянія, ему хотѣлось уѣхать. Думалъ съѣздить въ Кіевъ къ матери, но почему-то страшно было оставить жену, Маничку и даже квартиру. Такъ и не поѣхалъ.

Мало-по-малу къ веснѣ сталъ видаться съ нѣкоторыми близкими знакомыми. Однажды развернулъ неоконченную рукопись

„Бесѣда о біологіи“, сталъ перечитывать, увлекся. Прежнія ясныя и увѣренныя мысли выглянули и обрадовали. Тотъ, ненужный, страшный, нелѣпый и чуждый міръ сталъ сѣрѣть.

Отступило.

Ну, а потомъ и совсѣмъ забылось.

904

Въ казармѣ

У лампочки подмостился Ерзовъ съ иглой, Микѣшкинъ чистилъ пуговицы, а Ладушкинъ, раскрывъ подъ носомъ книгу, медленно, не громко и не тихо, не про себя и не вслухъ, читалъ Дѣянія Апостоловъ.

Онъ каждый вечеръ такъ читалъ, размѣренно и негромко, не смущаясь, если кругомъ разговаривали, и не повышая голоса, если его слушали.

Всѣ къ этому привыкли, между разговорами иногда и слушали.

Молодой солдатъ Дудинъ, веснущатый, румяный какъ дѣвушка, сидѣлъ на своей койкѣ противъ лампочки, ничего не дѣлалъ, только иногда молча вздыхалъ и шмыгалъ носомъ.

По койкамъ уже спали, хотя часъ былъ еще ранній. На дворѣ трещалъ морозъ, въ окна, забранныя рѣшетками и внизу за-

лѣпленныя (окна были совсѣмъ низко и выходили въ глухой переулокъ), смотрѣла холодная чернота, а лампочка свѣтила съ уютной мутностью; подъ сводчатымъ потолкомъ казармы было почти жарко: и натоплено и люди надышали. Пахло немножко керосиномъ, кожей, онучами, тихой прѣлостью—и свѣжимъ, теплымъ хлѣбомъ откуда-то.

— Да, — сказалъ Ерзовъ, громадный, плосколицый, усатый солдатъ съ Георгіемъ, таща толстенную нитку за скрипящей иглой.—Долженъ признаться... теперь это наши воюютъ, животъ кладутъ, а мы сидимъ.

— Безъ охраны тоже нельзя,—возразилъ Микѣшкинъ, ухмыляясь. Онъ вѣчно смѣялся, за что его звали лупорожимъ.

Ерзовъ продолжалъ:

— Вамъ что, мужичью, согнали васъ сидѣть—вы и рады.—А если кто пороху понюхалъ, въ томъ, долженъ признаться, при теперешнихъ обстоятельствахъ сердце горитъ.

— Да что-жъ? — сказалъ молодой Дудинъ. — Война такъ война. Теперича меня взяли съ коихъ мѣстъ, сюда пригнали, а на войну не пущаютъ.

Микѣшкинъ захохоталъ.

— Ишь, храбрòй! Куда те воевать, ружья въ рукахъ еще не держишь! Учатъ те— учатъ...

— Да что. Конечно, мы непривычны. А только что же здѣся-то. Одинъ бы ужъ конецъ. Я не храбрòй!.. Куды намъ! Да страховъ-то вездѣ довольно.

— Вотъ такъ солдатъ!—сказалъ Ерзовъ съ презрѣніемъ.—Деревенщина, пахотникъ, лапотникъ!

„Былъ—же—страхъ—на—всякой душѣ", размѣренно читалъ свое Ладушкинъ.

„Всѣ же вѣрующіе были вмѣстѣ и имѣли—все—общее".

Микѣшкинъ прислушался и сказалъ:

— Ишь, ровно какъ мы. Сидимъ вмѣстяхъ, и никакихъ.

Никто не возразилъ. Ладушкинъ вздохнулъ, перевернулъ страницу и все читалъ.

„У множества же..."

— Ишь ты! — опять сказалъ Микѣшкинъ, широко улыбаясь.

„...было одно сердце и одна душа, и никто изъ имѣнія своего ничего не называлъ своимъ, но все у нихъ—было—общее..."

— Согнали, значитъ, ну и живи, — ска-

залъ Дудинъ.—Гдѣ ужъ тутъ свое. Свое-то тамотка осталось.

Ерзовъ откусилъ нитку.

— Эка скула, скулишь-скулишь... Присягу, чай, принималъ. И чего тамъ, въ деревнищѣ-то своей, покинулъ?

— Да что, братцы,—вдругъ словоохотливо началъ Дудинъ. — Вотъ хоть бы сказать — бабу покинулъ. Бабочка у меня молодая, круглая такая, изо всѣхъ выбранная. Думка-то, она, была, что идти мнѣ, да въ уши нажужжали: не возмутъ, молъ, тебя, одинъ, молъ, глазъ неправильный и въ бокахъ стѣсненіе. Женись, молъ, смѣло. Я женился, а оно вонъ онъ какой глазъ-то тебѣ неправильный! И не оглянуться было, взяли да и угнали. Угнали да и пригнали. Воевать—не воевать, а сиди. Теперича баба у меня молодая, толь-толь взята, обзаконено у насъ,—а гдѣ она? И жалѣю я ее, да коли нѣту ея. Ея-то нѣту, а грѣхъ-то вотъ онъ. Безъ бабы-то не просидишь.

— На что, на что, а на это ты, Дуда, гораздъ! — захохоталъ Микѣшкинъ. — Наташка-то твоя кажинъ день тутъ стрѣляетъ. Ничего дѣвка, а только попадетъ она!

— А грѣхъ-то? — плаксиво сказалъ Ду-

динъ.— Теперича эта Наташка самая... Вѣдь я ей представлялъ, что въ законѣ я... То-есть какъ ухъ нѣтъ. Чего навязалась? А я къ бабамъ жалостливый. Теперича и тамъ баба, и тутъ. Грѣху-то одного сколь! А безъ бабы не вывернуться. На войнѣ-то, можетъ, оно бы грѣха-то этого меньше.

— На военномъ положенiи, долженъ признаться, надъ тобой мученическiй вѣнецъ витаетъ, а потому всякiй грѣхъ прощенъ,— сказалъ Ерзовъ важно и насупилъ усы.— Это ты, братецъ, глупъ еще, то и скулишь. Невидаль твоя Наташка! А вотъ какъ стояли мы подъ Пекинымъ...

Ерзовъ часто и охотно разсказывалъ, какъ онъ былъ въ Китаѣ; правду ли—неправду ли—неизвѣстно, но всегда разсказывалъ все новое, и его любили слушать.

— ... Какъ стояли это мы подъ Пекинымъ,—долго безъ дѣла стояли, жара это, и въ ожиданiи мы,—будетъ нынче дѣло—не будетъ ли... такъ вотъ, долженъ я признаться, китаекъ этихъ тамъ—туча. Такъ и лѣзутъ, прямо сказать—лѣзутъ. Жара, скука, самъ въ неизвѣстности,—а онѣ, чуть смеркается—тутъ какъ тутъ. Маячатъ, роздыху нѣтъ. Ну, мы ужъ, конечно...

— Ай-ай-ай!—воскликнулъ Дудинъ.

Ерзовъ внушительно продолжалъ:

— А грѣха, долженъ признаться, никакого и не было. Первое—что военное положеніе и мученическій вѣнецъ, а затѣмъ и то сказать, какой же съ ей грѣхъ, коли въ ней душа язычная, вродѣ какъ бы паръ, и даже словъ ты ей ни малѣйшихъ говорить не можешь. Пришла— и ушла, и никакихъ, ровно и не было ея. И которая, эта ли, та ли,—и того не постичь, потому, братецъ, что долженъ я признаться, всѣ онѣ, китайки, на одно лицо.

— Н-ну? сказалъ Микѣшкинъ, расплываясь въ улыбку.—А съ чего-жъ такъ?

— Да кто ихъ знаетъ. Волосы, это, свáляны, глаза вдоль, черноватенькіе, носъ пупомъ, а морда рыжая.

— Ры-жая?

— Рыжая. Ну а во всемъ прочемъ отношеніи, долженъ признаться, ничего, баба какъ баба. Прильнущая она только больно, а то ничего.

— И много ихъ тамъ, говоришь?

— Бѣда! Невпроворотъ. Одно дѣло— жара, да и скука; пищу же давали хорошую, и водку давали... Французъ съ нами стоялъ,

такъ страсть сатанѣлъ на китаекъ на этихъ. Агличанинъ — тотъ крѣпче, по емъ ничего не узнаешь, что онъ. Французъ посвободнѣе. Ну, конечно, какъ зачались дѣла, вывѣдали, что непріятель вблизяхъ шатается, пошли мошки кой когда летать, китаекъ этихъ у насъ поубавилось. Спрятались. А вскорѣ и двинули насъ.

Съ ближайшей койки давно кто-то прислушивался къ разговору. Свѣсилась круглая голова. И густой молодой голосъ произнесъ:

— А куды-жъ двинули-то? Недалеко, небось. То какая война была! Вродѣ какъ угроженіе. А не настоящая.

Ерзовъ, не взглянувъ на говорившаго, съ достоинствомъ крякнулъ.

— Коль бы дѣлъ не дѣлалось—и георгіевъ бы не давали. Не нашимъ умомъ разсуждать. Нынѣшняя война, словъ нѣтъ, кровопролитнѣе по числу жертвъ, однако что въ ту пору, что теперь—одинаково каждый свою грудь подъ вражескую пулю подставляетъ, и сколько ихъ, числомъ то-есть, жертвъ ни будь, а для всякаго онъ самъ и есть одна разъединственная жертва. А что вообще кровопролитнѣе — это спору нѣтъ. Тогда что? Тогда перебитыхъ ну пять, ну

десять возовъ наложить — и того, можетъ, нѣтъ. А нынче,— я отъ его благородія слышалъ,—ежель всѣ наши казармы наложить, во всѣ этажи, да дворъ у насъ пустой — дворъ вплотную набить, такъ куды! Еще мертвыхъ тѣлъ останется. Еще столько же, коль не вдвое.

— Охъ, Господи, страсти какія!—взвылъ Дудинъ.

— Страсти! И никакой тутъ страсти нѣтъ, потому геройство. Ты мужикъ, такъ мужикъ и есть, а полѣзъ бы на окопъ, да ему-то, дьяволу, въ харю посмотрѣлъ, такъ ужъ тутъ не до страха. Тутъ, братцы, духъ въ тебѣ пробуждается, одно сказать— геройскій.

Ерзовъ помолчалъ.

— Вотъ это точно—продолжалъ онъ— долженъ признаться, мошки когда летаютъ— пріятности никакой нѣтъ. Свиститъ-жужжитъ, хлопнула зря, свалила—и неизвѣстно откудова. Кто, что, почему? Лежитъ человѣкъ безо всякаго удовольствія. Ружья дальнобойныя, его-то, дьявола, на пустомъ мѣстѣ и глазомъ не достать—а пуля претъ, какъ дура. Тоже и мы: стрѣляй, — а куда? У орудія тоже кто: команда—запалитъ: вспых-

нетъ, оно, шаркнетъ,—и слѣдъ простылъ. А убило ли — не убило ли — ничего неизвѣстно. Это и нынче много такъ, слышно. Это что! Отъ этого, долженъ я признаться, духъ геройскій не возгорается.

— Въ штыки, што ль?—спросилъ Микѣшкинъ.

Ладушкинъ, не слушая разговаривавшихъ, читалъ:

„... И вышедши за градъ, стали побивать его...“

— Ужъ разскажу я вамъ, братцы, такъ и быть, про этотъ про геройскій духъ, — началъ опять Ерзовъ.—Въ подробности разскажу, какъ онъ во мнѣ. разгорѣлся. Такое было дѣло.

Онъ помолчалъ, пыхтя и супя усы.

„... И, пре-клонивъ колѣна, воскликнулъ громкимъ голосомъ: Господи, не вмѣни имъ грѣха сего. И сказавъ сіе...“

— Вотъ какое было дѣло, — началъ Ерзовъ со вкусомъ, покрывая монотонное чтеніе Ладушкина.—Издалека вести нечего, а скажу прямо, что были мы на развѣдкахъ, не такъ чтобы очень много насъ, ну да встрѣтились ночью еще съ нашими; ужъ глядь— къ утру близко, мы и полегли за бугорокъ,

пока что. Офицерикъ съ нами молоденькій былъ, не очень понимающій, изъ охотниковъ; думали, затемно обернемся, анъ ничего. Лежимъ это мы, а ночи холодныя, днемъ палитъ, а ночи стали страсть какія. Лежу я, земля какъ ледъ, спать не хочу, а зло меня разбираетъ. Забѣгли куда, ничего не видали, какъ провалился китаецъ этотъ, а знать было, что округъ шатается. Ну, однако, долженъ я признаться, хоть и холодно, а какъ бы дремлется. Сѣро ужъ стало, желто; тамъ это скоро, сряду разсвѣнетъ—и солнышко вотъ оно. Лежу этакъ, и ни къ чему мнѣ, не ворохнется ни одинъ. Да вдругъ, на небо, что ли, взглянуть хотѣлъ, глаза-то веду—а надъ бугоркомъ, явственно вижу,—сѣрая этакая морда выторкнулась. Только я крикнуть хотѣлъ — а ужъ тутъ и всѣ наши кричатъ, повскакали; команду слышимъ, да что—и не знать; на бугорокъ скачемъ, а тамъ ихъ куча. И тутъ ужъ, братцы, что въ подробности кругомъ было—мнѣ неизвѣстно, потому сразу же меня этотъ самый геройскій духъ обхватилъ, и что передъ собой видѣлъ, то и видѣлъ. Они орутъ, наши орутъ, и я ору, и пру, и одного сразу штыкомъ отвалилъ, а тутъ

другой вплотную, я это ему подъ шею штыкъ, да сразу не глубоко взялъ; ну только на меня съ него, аспида, черная кровь какъ шваркнетъ,—я и не взвидѣлся. А не убилъ, потому онъ же на меня лѣзетъ, буркалы его даже вижу, и зубы распялилъ. Ружье это я отбросилъ и схватилъ его, братцы, поперекъ живота, а другой-то рукой за горло, и деру это его, и ору, и такой былъ во мнѣ геройскій духъ, что десятерыхъ бы разорвалъ въ ту пору, не его одного. Рядомъ это наши другихъ отшмякиваютъ, потому ревъ, а я уже ничего не помню, въ своего вчепился, и оба мы съ нимъ по землѣ катаемся, а я ему, стервецу, животъ мну, изъ горла языкъ выдавливаю, уничтожаю, значитъ; кровь-то такъ и хлещетъ, глаза даже залѣпляетъ, я съ того еще болѣ разгораюсь, потому ужъ и не знать, съ его ли, али это онъ меня уловчился кольнуть. Катаемся и катаемся, и какъ впился я въ него клещомъ, ору и деру, ору и деру, такъ и любо мнѣ стало; потому ужъ памяти у меня нѣтъ, а одинъ духъ геройскій. И не оторваться бы мнѣ отъ него, а только слышу—тащатъ меня, наши голоса ругаются. Стоятъ двое надо мной

и офицеръ нашъ молоденькій, чудной такой, безъ фуражки. Королевъ, слышу, ругается: „чего ты, живъ аль нѣтъ? Чего ты съ имъ сцѣпившись? Вѣдь у него давно башка на кожѣ“. Ну, оттащили меня. Мокрый, кровь это на мнѣ сквозь, и стоять не могу, трясусь. Раненъ оказался, да не такъ, чтобъ тяжко, ну а на немъ, на аспидѣ, зато лику не осталось. Голова виситъ, горло разорвано, весь искоряженъ. Поглядѣлъ я кругомъ: всѣ лежатъ, а нашихъ только двòе, да ранены четверо. А не очень много и было ихъ, нашихъ-то поболѣ. Офицеръ намъ: „молодцы, говоритъ, ребята, я васъ къ отличію представлю!“ А самъ дрожитъ и смѣется, дико такъ, и на меня смотритъ: „молодецъ, молъ, Ерзовъ, двухъ уложилъ. А только чего ты въ этого-то такъ вонзился, что не разнять васъ. Онъ, небось, ужъ давно мертвый, а ты съ нимъ катаешься“. Радъ, говорю, стараться, ваше высокоблагородіе. Во мнѣ, говорю, геройскій духъ проявился. Солнце ужъ тутъ взошло, кругомъ пусто, мертвецы лежатъ,—да мы. Раненые стонутъ, а офицеръ ничего, трясется да улыбается. Ну, мы раненыхъ на шинели, да и убитыхъ своихъ не покинули, пошли.

Къ вечеру кое-какъ дошли до пункта, благополучно. Уходилъ—такъ на своего-то я еще посмотрѣлъ: лежитъ съ перерваннымъ горломъ, промежъ прочихъ даже выдѣляется. Страшнóй. Рожа сѣрая, заляпаная.

Дудинъ глядѣлъ, выпуча глаза. Потомъ перекрестился.

— Ай грѣхъ какой! --прошепталъ онъ, прерывисто вздохнувъ.—Ой, грѣхи-то!

Ерзовъ посмотрѣлъ на него вдохновенно и строго:

— Присягу принимаемъ отечество отъ врага оборонять, о духѣ геройства молимъ. Вѣнецъ пріемлемъ въ борьбѣ съ язычниками! Да.

Онъ помолчалъ и прибавилъ:

— И какъ вспомнится мнѣ это, такъ, братцы, словно облако во мнѣ заходитъ. Сердце горитъ, и опять бы давай. Тамъ наши дерутся, кровь льютъ, а я съ вами, мужичьемъ неотесаннымъ, сижу. Долженъ признаться, даже сны бываютъ. Лежу будто подъ бугоркомъ, а надъ бугоркомъ рожа. А я, будто, на него. Будто вчеплюсь въ его, и не помню ничего, только духъ этотъ самый геройскій во мнѣ облакомъ, облакомъ...

Микѣшкинъ, лупорожій, не улыбался. Должно быть, завидовалъ. Дудинъ пришипился. Кто слушалъ съ сосѣднихъ коекъ— тоже не подали голоса. Монотонное, тягучее чтеніе Ладушкина давно вошло въ тишину и не нарушало ея.

Вдругъ въ низкое окно съ переулка кто-то слабо стукнулъ.

— Стучатъ! — сказалъ Микѣшкинъ и заулыбался, вставая.

Дудинъ встрепенулся и заерзалъ.

— Она! Слышь, Дудинъ, опять Наташка твоя!—сказалъ Микѣшкинъ. Онъ глядѣлъ въ стекло, прикрывшись рукой.

— Да ну ее! — жалобно отозвался Дудинъ. — Чего ей? Чего лѣзетъ? Развѣ это порядокъ, по ночамъ?

— Порядокъ? Порядокъ? Выдь къ воротамъ, не въ первой вѣдь,—что̀ станется?

Дудинскую Наташку въ казармѣ знали, сочувственно подсмѣивались, даже издѣвались, но въ общемъ поощряли.

— Грѣхъ одинъ! Ну ее къ собакамъ!— опять плаксиво сказалъ Дудинъ и замолкъ.

Ничего не слышавшій Ладушкинъ кончалъ чтеніе:

„...Но какъ они противились и злосло-

вили, то онъ, отрясши одежды свои, сказалъ къ нимъ: кровь ваша на главахъ вашихъ; я чистъ; отнынѣ иду къ язычникамъ"...

Въ окошко опять стукнули. Ерзовъ, вставая и складывая одежду, сказалъ:

— Дурень! Да выдь къ воротамъ. Не съѣстъ она тебя. Можетъ, она что передать хочетъ. Принесла чего. Не впервой.

Вздыхая и какъ бы нехотя, Дудинъ накинулъ шинель и вышелъ. Лампочка стала никнуть, тускнѣть. Никто не замѣтилъ, когда Ладушкинъ прекратилъ чтеніе. Плотнѣе стало пахнуть кожей, прѣлостью и людьми.

Укладывались.

904

На веревкахъ

— Что? Хорошо? Хорошо? Неужели вы боитесь, Нина?

Длинная, новая, свѣтлая еще доска широкими размахами взлетала вверхъ, все выше съ каждымъ летомъ; вотъ,—уже выше запыленныхъ и вянущихъ акацій у забора садика, а вотъ, скользнувъ низко мимо убитой сѣрой земли,—подножья качель,—взмыла по другую сторону выше молоденькой березки.

— Нѣтъ... Я не боюсь... Я люблю... — говорила дѣвушка, упруго, крѣпко стоявшая на одномъ концѣ доски.

Качели были новыя, столбы высокіе, кольца не скрипѣли. У Нины изъ гладкой прически выбились легкіе, щекотавшіе лицо, волосы. Щеки разгорались отъ ударовъ остраго, уже осенняго, воздуха; не поспѣвающее сѣрое платьице обливало ея колѣна,

и тамъ, наверху трепетало и билось въ воздухѣ.

На другомъ концѣ доски стоялъ высокій и плотный студентъ-медикъ, женихъ Нины, Могарскій.

— Держитесь крѣпче... Вѣдь мы выше дачи летаемъ!.. Видите, а третьяго дня нельзя было... Я велѣлъ удлинить веревки. Чѣмъ длиннѣе веревки, тѣмъ шире размахъ. Ну-съ, итакъ, Ниночка? Что вы еще имѣете возразить?

Онъ не усиливалъ взмаховъ, но и не давалъ имъ умѣриться.

— Мы такъ высоко... И солнце слѣпитъ... Трудно разговаривать серьезно, — сказала дѣвушка.

Она дышала неровно отъ вѣтра качаній; но Могарскій говорилъ точно со стула, и солнце ему не мѣшало. Впрочемъ, оно было не яркое, — желтое августовское солнце.

— Да вѣдь голова не кружится?—сказалъ Могарскій.—Тутъ-то и говорить, когда летаешь. Если, конечно, голова не кружится.

— Что же возражать? Я вѣрю въ васъ... Да, я хотѣла бы возразить. Для меня есть неясное... У меня есть вопросы...

— Я смотрю на васъ, какъ на равно-

правнаго человѣка, Нина,—сказалъ Могарскій, глядя на нее прищуренными глазами. Онъ былъ близорукъ, но очковъ не носилъ.—Неясное должно выясниться. Всякая „вѣра“ — это нѣчто несуществующее. Существуетъ лишь то, что познается. Вы должны знать. Все надо знать; и граница человѣческаго познанія — только граница человѣческаго міра.

Они, вѣроятно, уже давно вели этотъ серьезный разговоръ.

— Мама, я думаю, безпокоится, — сказала дѣвушка при послѣднемъ взлетѣ.— Вонъ она на балконѣ. Вы подождите немного. Отдохнемъ. А потомъ опять.

— Какъ угодно. А мамы всегда безпокоятся.

Могарскій пересталъ равномѣрно сгибать колѣна, и размахи доски, еще очень широкіе, дѣлались постепенно медленнѣе.

— Я вотъ что хотѣла сказать, — начала Нина, торопясь и стараясь отбросить мѣшающую ей тонкую прядь волосъ.—Ну да, ну да, мы правы, проникаясь нашимъ жизнерадостнымъ требованьемъ торжества здоровья, красоты и мощи въ человѣкѣ. Да, упоительно прекрасна картина будущаго

богатаго. роскошнаго расцвѣта всѣхъ силъ... Но вѣдь теперь-то... вѣдь столько скорби, нелѣпости, униженія, столько непонятнаго...

Могарскій улыбнулся.

— А причина? Сознаюсь, горестное несовершенство! А причина -- не въ недостаточной ли пока власти человѣка надъ стихіями?

— Я не знаю,— сказала Нина.—Но вѣдь отдѣльныя-то личности погибаютъ. Какое же оправданіе страданію?

Доска все замедляла взмахи. Ниночка съ робкой надеждой и влюбленностью смотрѣла на Могарскаго.

— Фью!—свиснулъ онъ.—Это откуда у васъ, Ниночка? Кто изъ курсовыхъ профессоровъ вбиваетъ это вамъ въ голову? Желаете оправданья страданью? Я не желаю. Просто надо устроиться, и я думаю, что это всетаки возможно. Вопросъ одинъ: есть ли еще куда идти? Можно ли двигаться впередъ къ гигіеническому идеалу гармонической жизни? Думаю, что вижу путь. Личность погибаетъ? Тѣмъ хуже для такой личности. Я, напримѣръ, живу не здѣсь, не въ этомъ тѣлѣ; мое настоящее „я“ обнимаетъ собою жизнь всего міра и замираетъ

отъ могучаго стремленія къ развитію. А вы...

— А я—что?—сказала Нина со страхомъ.

— А вы... Иногда мнѣ кажется, что вы еще путаетесь во всѣхъ противорѣчіяхъ дуализма. Не хотите стоять на ногахъ. Мечтаете повиснуть на чемъ-нибудь надъ землею, хоть крюкъ въ небо вбить...

— Нѣтъ, нѣтъ...

Могарскій, не слушая, горячо продолжалъ.

— Нина! Вы, человѣкъ, котораго я уважаю, вы, женщина, которую я люблю, вы, такъ глубоко понявшая что для того, чтобы стать богами—мы должны сдѣлаться титанами,—и вы еще останавливаетесь передъ заповѣдью состраданья къ отдѣльнымъ преходящимъ тѣламъ, передъ несуществующей непонятностью жизни! О, Нина! Для насъ могущественна лишь заповѣдь любви ко всему цвѣтущему потоку жизни! Къ тѣмъ дивнымъ формамъ, въ которыя она отольется. Мы любимъ жизнь, ибо мы ея властители, ея творцы. И если мы ее познаемъ — нѣтъ случайностей, нѣтъ преградъ для нашего титаническаго порыва. Прочь позорную трусость! Нина, дорогая моя, посмотрите: солнце, земля, настоящее, грядущее — все наше!

Любовь, правда, красота, смѣлость! И насъ, такихъ, какъ мы—много, и становится все больше... И всѣ, наконецъ, будутъ, какъ мы...

Дѣвушка вспыхнула.

— Да, да! О, я знаю! Евгеній, я не всегда малодушна. Я знаю...

Она молодо, свѣжо и задорно разсмѣялась.

— Развѣ я не знаю? Только надо быть храбрымъ, храбрымъ! Правда? Мы еще повоюемъ! Давайте качаться! Выше, выше! Такъ, чтобы вы испугались. А я то ужъ не испугаюсь!

Толчокъ вскинулъ вверхъ замедленную доску, тугія веревки дрогнули и напряглись. И съ каждымъ усиліемъ Могарскаго все выше и выше взлетала узкая, остроугольная доска, и сѣрое, трепещущее платье Нины уже два раза коснулось зашептавшихъ листьевъ березы. Все стремительнѣе пролетала доска внизу, надъ гладкой сѣрой землей дорожки, и шипя, и жужжа крутилъ потревоженный воздухъ легкіе, солнечные волосы дѣвушки.

Она и Могарскій видѣли теперь не только покатую крышу ихъ низенькой дачи, за жид-

кой аллеей изъ елокъ, но и тамъ, вдали, другіе дома, улицы, и даже гроздья купы деревьевъ всего царскосельскаго парка. На взлетахъ уже содрогались веревки. Почти съ визгомъ, стремительно, мчалась доска мимо земли. Нинѣ показалось, что она взглянула сверхъ перекладины; и, всетаки, жмурясь, улыбаясь, задыхаясь, она повторяла отрывисто:

— Еще... еще...

Она теперь не думала, что мама, можетъ быть, на балконѣ, можетъ быть, безпокоится.

Да на балконѣ, вѣроятно, никого и не было.

Со ступеней сбѣжала маленькая дѣвочка, лѣтъ шести, въ голубомъ фланелевомъ платьицѣ, съ голубой ленточкой въ негустыхъ, совсѣмъ свѣтлыхъ волоскахъ.

Переваливаясь, побѣжала по аллейкѣ изъ елокъ, къ качелямъ.

На минутку остановилась, сіяющая, удивленная, точно завороженная полетомъ доски. Только на минутку, и сейчасъ же бросилась впередъ, за столбы, махая руками, захлебываясь отъ восторженнаго смѣха, крича:

— Нина! Нинка! И меня! И меня такъ высо...

Въ эту секунду узкая доска, точно лезвіемъ разсѣкая воздухъ, пролетѣла надъ землей, содрогнулась вся отъ внезапнаго препятствія,—но всетаки пролетѣла, съ короткимъ и тупымъ стукомъ отшвырнувъ далеко, въ пыль, маленькое голубое тѣльце.

Оно завертѣлось, покатилось, а пыль тяжело и дымно потянулась за нимъ.

Нина взвизгнула, подалась вся впередъ, но руками невольно удержалась за веревки, потому что доска еще продолжала взмахиваться, трепетно и криво. Могарскій соскользнулъ внизъ и, взметая пыль, ногами старался остановить доску, а она все крутилась и дрожала, и не останавливалась.

— Лизочка, Лизочка, Лизочка!—вопила Нина, соскочивъ почти налету.—Боже мой! Лизочка, Лизочка, Лизочка!

Шатаясь отъ ужаса, собственнаго крика и отъ только что оборвавшихся взлетовъ, Нина кинулась къ ребенку и порывисто поднимала его. Наконецъ, схватила на руки.

Могарскій растерянно поддерживалъ сразу свисшую голову. Нина, не переставая

кричать, сѣла съ дѣвочкой на низкую, теперь неподвижную доску качелей.

— Лизочка, Лизочка! Мама! Господи!

Голубое платьице въ пыли, спутавшіеся вдругъ свѣтлые, жидкіе волоски съ голубой ленточкой — въ пыли, свѣтлое маленькое лицо—тоже въ пыли; и точно все пыльнѣе становилось оно, сѣрѣя,—мертвое, удивленное. Крови нигдѣ не было, только надъ приподнятой бровью темнѣло синее пятнышко.

— Ничего... Постойте... Если это обморокъ... За докторомъ надо...—лепеталъ Могарскій, оглушенный крикомъ Нины, забывая, что онъ самъ почти докторъ.

По аллейкѣ уже бѣжала маленькая, худенькая женщина въ черномъ, бѣжала спотыкаясь, вся подавшись впередъ.

— Мама!.. — закричала Нина. — Мама, Лизочка наша! Мы качались, а она... Мама! Господи!

И она, плача и дрожа, протягивала сестренку со свисавшей пыльной головой, и сама тянулась—къ женщинѣ въ черномъ.

Мать подбѣжала, молча выхватила ребенка изъ рукъ Нины.

— Если обморокъ... Я пойду за докто-

ромъ. Вы не безпокойтесь, — сказалъ Могарскій и сдѣлалъ шагъ къ калиткѣ. — Да, дѣйствительно... Какая ужасная случайность...

Мать взглянула въ лицо дѣвочки и сказала:

— Убили.

Сказала тихо, безъ упрека, безъ вопля. Сказала — и пошла къ дому съ ребенкомъ на рукахъ.

Нина побѣжала впередъ, безсмысленно крича:

— За докторомъ! Господи! Господи!

Могарскій и Нина разошлись. Не ссорились, не объяснялись, — такъ, просто разошлись, само собою вышло.

904

Нинишъ

Ранней и поздней весной, въ ясные дни, люблю сидѣть въ Лѣтнемъ саду. Сажусь на скамейку, на круглой площадкѣ, около памятника Крылова, и смотрю на дѣтей.

Смотрю, сижу, молчу; — и вотъ, понемногу я сталъ различать ихъ, узнавать тѣхъ, которыя приходили чаще. Иныхъ,—напримѣръ двухъ долговязыхъ и надутыхъ мальчиковъ съ англичанкой,—я не любилъ. Къ другимъ привязался. И дѣти привыкли видѣть меня, молчаливаго, на скамейкѣ, всегда около нихъ. Не дичились; говорить не говорили,—но иной пробѣжитъ мимо— и улыбнется, какъ старому знакомцу.

Особенно мнѣ нравилась одна дѣвочка. Богъ ее знаетъ, сколько ей было лѣтъ,—я этого не умѣю угадывать; должно быть лѣтъ пять, или такъ около шести. Ростомъ маленькая, толстенькая. Крѣпкія такія, круглыя ножки въ тугихъ шерстяныхъ чул-

кахъ. Въ капорѣ, въ малиновомъ пальто. Приходила съ худой француженкой, а разъ была съ нянюшкой.

— Съ кѣмъ бы ни приходила—тотчасъ убѣгала: въ сухіе дни играла громаднымъ мячомъ, который могла держать только обхвативъ его обѣими руками,—а то такъ бѣгала, и быстро перебирала короткими, крѣпкими ножками. Уставая—карабкалась на скамейку, случалось—на мою, и сидѣла чинно со своимъ мячомъ, пока гувернантка, оторвавшись отъ книжки, не начинала кричать пронзительно:

— Niniche! Niniche! Où êtes vous?

Или подходилъ къ ней какой-нибудь чужой мальчикъ, а то дѣвочка, съ несмѣлымъ вопросомъ:

— Хотите играть?

Нинишъ, оглядѣвъ спрашивающаго, неторопливо, бокомъ, слѣзала со скамьи,—и они уходили, взявшись за руки.

Одинъ разъ, когда Нинишъ такъ отдыхала на моей скамейкѣ, мы заговорили другъ съ другомъ. Это было въ ясный мартовскій день, въ одинъ изъ тѣхъ дней, когда зима и весна встрѣчаются лицомъ къ лицу: зима—на землѣ, весна—на небѣ. Де-

ревья тянутся черными верхушками къ небу, къ веснѣ, и слышно, какъ они дышатъ,— а корни ихъ въ снѣгу, въ землѣ, въ зимѣ.

А между зимой и весной, въ серединѣ, въ желтомъ и розовомъ воздухѣ солнечномъ—и недоумѣніе, и улыбка.

Нинишъ сѣла около меня, запыхавшись, и смотрѣла въ мою сторону съ удовольствіемъ. Щеки ея розовѣли изъ-подъ оборки капора, точно кармазинное яблочко.

Еще разъ взглянула и сказала, очень чисто:

— Я играла. А вы никогда не играете?

— Отчего вы думаете? Нѣтъ, иногда играю.

— Большіе не играютъ,—вдругъ совсѣмъ степенно проговорила Нинишъ, и я почувствовалъ себя немножко пристыженнымъ. Она была права, большіе не играютъ, и я ей солгалъ, что играю.

— Ну, я пойду,—сказала Нинишъ, слѣзая бокомъ со скамьи.—А то няня меня не найдетъ. У мадмазель сегодня голова болѣла. А няня слѣпенькая, не увидитъ.

Я снялъ шляпу и поклонился дѣвочкѣ.

Съ тѣхъ поръ мы стали здороваться и прощаться, а иногда разговаривать.

И вдругъ Нинишъ пропала.

Я ходилъ на свою скамейку каждый день, и дни стояли яркіе да ясные, снѣгъ дружно сошелъ, на площадкѣ высохло, почки на липахъ сада опять, въ двухсотый почти разъ, набухли,—весна спустила свои голубыя одежды съ неба внизъ, до земли; дѣти, большія и маленькія, хорошенькія и гадкія, знакомыя и новыя, бѣгали около меня—а Нинишъ не приходила.

Каждый день я искалъ ее, боясь, что не найду—и не находилъ дѣйствительно. Пытался утѣшаться другими дѣтьми, потому что, въ сущности, не всѣ ли они для меня были равно не мои? и не могъ. Я безпокоился. Какъ же такъ? Была—и нѣтъ ея. И я могу никогда не узнать, почему ея нѣтъ, хотя она была.

И вотъ она пришла.

Я завидѣлъ ихъ издали,—узналъ сухую гувернантку и рядомъ съ ней маленькій бѣлый комочекъ. На Нинишъ былъ тотъ же капоръ, но пальто было не малиновое, а тоже бѣленькое.

Я чуть не бросился навстрѣчу, но опомнился и остался сидѣть, гдѣ сидѣлъ. Француженка направилась къ скамьѣ на противо-

положномъ краю площадки; Нинишъ отошла отъ нея, побѣжала было, даже подпрыгнула раза два,—но потомъ пошла мѣрнымъ, тихимъ шагомъ. Тихо обошла памятникъ, тихо подошла къ моей скамейкѣ, остановилась, подумала,—и влѣзла на нее.

— Здравствуйте, Нинишъ, — сказалъ я радостно.—Вотъ, вы все не приходили.

Нинишъ поглядѣла на меня серьезно. Я въ первый разъ подумалъ, какіе у нея славные, немного круглые, темносѣрые глаза. И были они совсѣмъ дѣтскіе,—и грустные.

— Здравствуйте, — сказала Нинишъ. — Я не приходила. А вы всегда приходите?

— Всегда, Нинишъ. Видите, тепло стало. Дѣти играютъ.

Я не зналъ, что еще сказать. У Нинишъ не было мячика. Она держала въ рукахъ нарядную куклу, явно совсѣмъ новую; но держала небрежно, точно по необходимости, нисколько ею не занимаясь: бываютъ такія, очень хорошія—и нелюбимыя игрушки.

Я молчалъ и уже сталъ ждать, съ печалью, что Нинишъ уйдетъ. Но она не уходила и вдругъ сказала, не глядя на меня, такъ, просто:

— А моя мама умерла.

— Умерла? Теперь? Правда?

— Правда, умерла. Я сначала очень не хотѣла, что она умерла, и очень плакала, а потомъ папа сказалъ, что она придетъ.

Что я могъ ей отвѣчать? И я повторилъ:

— Папа сказалъ?

— Да. Я сначала не знала, что вправду придетъ. А потомъ—мама лежитъ въ залѣ, и ужъ сама ручками крестъ держитъ. Значитъ, вправду придетъ?

Это былъ вопросъ, Нинишъ даже подняла на меня глаза.

— Придетъ, Нинишъ,—сказалъ я, какъ могъ увѣренно.

— А скоро, вы думаете? Къ Пасхѣ, вы думаете?

— Я думаю, можетъ, и къ Пасхѣ.

Она замолкла и видимо что-то съ трудомъ или вспоминала, или соображала.

И опять ко мнѣ:

— А вотъ няня — такъ говоритъ, что сначала Христосъ придетъ, а ужъ потомъ мама, а?

Задумался и я. Потомъ отвѣчалъ:

— Мнѣ кажется, няня правду говоритъ: сначала придетъ Христосъ, а потомъ и мама. А mademoiselle что говоритъ?

— Ничего мадмазель, — съ какимъ-то нетерпѣніемъ сказала Нинишъ.—Она только: „priêz pour elle!“ И ничего. Такъ вы говорите, няня,—вѣрно?

— Вѣрно.

Нинишъ вдругъ вся повернулась на скамейкѣ въ мою сторону, уронивъ на колѣни куклу, и уже съ явственной мольбой, недоумѣніемъ, безъ всякаго каприза, съ недѣтской, горячей тоской, спросила:

— А Христосъ? Онъ когда придетъ? Вы думаете что: Онъ скоро придетъ?

Я посмотрѣлъ ей прямо въ глаза и твердо сказалъ:

— Онъ непремѣнно придетъ, Нинишъ,— и думаю, что—скоро.

У нея все лицо улыбнулось, просіяли глаза, и, не сказавъ ничего больше, она поспѣшно, бокомъ, слѣзла со скамейки и побѣжала въ припрыжку, попрежнему, перебирая толстыми ножками въ черныхъ чулкахъ и весело выкрикивая,—просто для себя, отъ веселья,—одно слово. Я не могъ хорошенько разобрать, какое это слово, но мнѣ показалось, что она повторяетъ на бѣгу: „скоро! скоро! скоро!“

903

Влюбленные

Анатолій Саввичъ, молодой купеческій сынокъ изъ „интеллигентныхъ“, внезапно предложилъ своей женѣ, Катеринѣ Ивановнѣ, „покутить“,—и они отправились на острова въ бѣлую майскую ночь.

Взяли лихача и поѣхали. У нихъ были свои лошади, но Анатолій Саввичъ подумалъ, что съ кучеромъ Андреемъ будетъ что-то привычное, а ему хотѣлось чего-то иного, чего—онъ и самъ не очень ясно себѣ представлялъ.

Анатолій Саввичъ и Катерина Ивановна были женаты мѣсяца три-четыре. Передъ этимъ они очень долго были влюблены другъ въ друга и много терзались, потому что родители ихъ находились въ ссорѣ и слышать не хотѣли о соединеніи дѣтей. Одно время они и видались лишь тайкомъ. Катерина Ивановна выбѣгала къ Анатолію Сав-

вичу на лѣстницу. А однажды она даже рѣшилась проѣхаться съ нимъ на острова,—полчаса, не больше, сказавшись роднымъ, что идетъ къ подругѣ.

Анатолій Саввичъ въ то время кончалъ университетъ. Кончивъ, онъ понемногу сталъ входить въ отцовское дѣло.

И неожиданно любовь его къ Катеринѣ Ивановнѣ получила блаженное разрѣшеніе. Родители, помирившись, благословили ихъ, и они повѣнчались среди всеобщей радости и умиленія, въ домовой церкви, подъ пѣніе самыхъ лучшихъ пѣвчихъ.

Родитель Анатолія Саввича даже великодушно дозволилъ имъ поселиться въ отдѣльномъ гнѣздышкѣ, гдѣ все было устроено чрезвычайно мило и удобно. Въ буфетѣ пахло свѣжестью новаго дерева, серебро блестѣло, а спальня молодыхъ—она же и будуаръ молодой—казалась просто игрушкой.

Такъ они и жили, мирно и нѣжно-весело, вплоть до того вечера, когда Анатолію Саввичу пришла охота съѣздить съ женой на острова.

Катерина Ивановна была немножко лѣнива; ей, пожалуй, пріятнѣе было бы остаться въ своемъ будуарѣ игрушкѣ, на-

дѣть капотъ;—чай подадутъ, съ вареньемъ, съ бутербродами, Тося милый съ нею... Но, когда мужъ предложилъ ей прокатиться—она вдругъ какъ бы поняла его, слова не сказала, одѣлась и поѣхала.

Было не очень поздно. На Невѣ—сѣрый блескъ, запахъ пыли и воды, кругомъ—не громкій и не ясный рокотъ неспящаго, но все-таки ночного города. Дальше на проспектѣ,—непрерывающійся, но тоже не громкій шелестъ мягкихъ колесъ по шоссе, тупой и частый стукъ копытъ. За деревянными мостами, на Елагиномъ—внезапная, теплая, вся глубокая и душистая, сырость. Деревья только что окудрявились—темными въ сѣромъ сумракѣ, — юными листьями. Влѣво бѣлѣлась тускло-серебряными пятнами вода. Небеса вверху были какъ вода: тусклыя, беззвѣздныя, притаившіяся. И было хорошо,—какъ хорошо бываетъ притаившемуся человѣку съ радостью въ душѣ.

Анатолій Саввичъ крѣпче сжалъ станъ своей молодой жены:

— Милая... милая... а помнишь, какъ мы съ тобой разъ уѣхали украдкой? Такая же была ночь. И какъ мы боялись тогда... и какъ я любилъ тебя... Помнишь?

— Тогда... да, помню. Вотъ было страшно! Помню, конечно.

— Какъ мы счастливы теперь! Неправда ли? Тебѣ хорошо? Неправда ли, какъ хорошо?

— Очень хорошо, Тосикъ.

Она помолчала и прибавила:

— Сегодня только сырѣе немного... Но хорошо, хорошо.

— Тебѣ холодно, голубка? Сейчасъ, сейчасъ мы проѣдемъ въ одно мѣстечко, я покормлю и согрѣю мою птичку... Сырѣе, но пахнетъ, Катюша, совершенно какъ тогда.

— Очень хорошо пахнетъ. И ты такой же восторженный, какъ тогда... Ты давно ужъ такимъ не былъ.

— Потому что я счастливъ, Катюнокъ, и счастливъ вполнѣ... Я вновь переживаю то, прежнее, вновь вижу тебя тою же робкою дѣвочкой, довѣрчиво ко мнѣ прильнувшей... Но я знаю теперь, что ты моя— вполнѣ.

— О, дорогой, и я счастлива.

Анатолій Саввичъ говорилъ искренно, съ волненіемъ,—а между тѣмъ очень опредѣленно лгалъ. Онъ мучительно хотѣлъ все это чувствовать—и мучительно не чув-

ствовалъ. Онъ не видѣлъ въ Катеринѣ Ивановнѣ никакой робкой дѣвочки—а все ту же милую, знакомую жену, которую видѣлъ вчера и третьяго дня у себя дома, хорошенькую, со спокойнымъ, побѣлѣвшимъ и очень пополнѣвшимъ личикомъ, въ дорогой дамской шляпкѣ, которую онъ самъ съ нею выбиралъ. Онъ тоже отлично замѣтилъ сырость, которой „тогда" какъ будто и не было. Очень хорошо, пріятно, и отрадно, и жену онъ любитъ,—но счастья, того несравнимаго съ пріятностью, особеннаго, съѣдающаго, чувства,—онъ не могъ вспомнить. Не могъ тѣлесно. А мысленно—помнилъ.

И онъ сталъ злиться и даже досадовалъ на жену, за то, что она-то вѣдь помнитъ, чувствуетъ... Она такъ же счастлива. Боже сохрани, если она догадается, что онъ... Что—онъ? Развѣ ему худо? Развѣ онъ не любитъ, развѣ не исполнились всѣ его желанія? — Вздоръ. Просто—сыро сегодня на островахъ.

Они заѣхали въ ресторанъ. Катерина Ивановна сняла шляпку и стала еще милѣе—ну совсѣмъ какъ дома.

Заказали ужинъ, шампанское. Катерина

Ивановна, сѣла за столикъ, на бархатный диванъ. Она давно не была въ ресторанѣ (какъ-то она обѣдала въ отдѣльномъ кабинетѣ, съ семьей). Она подумала, что въ сущности, Богъ знаетъ, какіе люди тутъ каждый день бываютъ и что въ квартирѣ у нихъ уютнѣе и свѣжѣе. Ее немножко давилъ узковатый корсетъ. И вино она не очень любила—ей отъ него бывало тошно.

Но ея Тося смотрѣлъ на нее такими восторженными, влюбленными глазами, такъ радовался всему,—что и она стала стараться радоваться, и радовалась.

Подали закуски, потомъ первое кушанье, потомъ второе. Второе понравилось Катеринѣ Ивановнѣ, она поѣла съ удовольствіемъ, спросила названіе и мимолетно подумала:

— Вотъ бы Дашу научить.

Подали и шампанское. Лакей удалился, но потомъ опять зачѣмъ-то пришелъ, въ ту минуту, когда Анатолій Саввичъ хотѣлъ поцѣловать Катерину Ивановну. Это вышло неудобно. Но когда лакей опять исчезъ — Анатолій Саввичъ сказалъ:

— Выпьемъ же, дорогая, за наше счастье. Подумай, какъ еще не давно я почти не

смѣлъ поднять на тебя глаза,—и вотъ, ты моя, навѣкъ. Выпьемъ за нашу любовь.

Выпили.

Катерина Ивановна улыбнулась, поглядѣла на мужа съ благодарностью. И, увидѣвъ его напряженно-восторженное лицо, прибавила:

— Ты меня жжешь своими глазами...

Анатолій Саввичъ ее нисколько не жегъ, но она безсознательно припомнила, что сказала ему однажды эту фразу, давно, задолго до свадьбы — и безсознательно почему-то ее теперь повторила. Тогда ему это такъ понравилось.

Анатолій Саввичъ порывисто потянулся къ женѣ и обнялъ ее. Столъ мѣшалъ немного. Тамъ, въ ихъ уютной спальнѣ, такъ было удобно и хорошо обниматься.

— Помнишь, Катя, какъ ты выбѣжала ко мнѣ на лѣстницу, въ сумерки? Помнишь, какъ я тебя въ первый разъ поцѣловалъ, вотъ здѣсь... здѣсь... около уха...

И онъ поцѣловалъ ее около уха. Но этотъ поцѣлуй нисколько не напомнилъ ему перваго. Со временъ перваго, въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ супружества, онъ

столько разъ цѣловалъ ее, конечно и около уха тоже, что первый поцѣлуй совершенно стерся—отъ прикосновенія его же собственныхъ губъ.

— О, я все помню,—сказала Катерина Ивановна.—Мнѣ такъ хорошо.

Ей, дѣйствительно, стало хорошо, но она вспомнила не тѣ первые тайные поцѣлуи, а вчерашнія, третьеводнишнія веселыя ласки въ уютной спальнѣ. Но Тося все спрашиваетъ: помнишь? И онъ такой милый. Ну, конечно, она помнитъ, и ей хорошо.

Они долго цѣловались, поглядывая на дверь, и было совершенно такъ же хорошо, какъ дома, только не такъ ловко и удобно.

— Тосикъ, у меня голова немножко заболѣла,—проговорила Катерина Ивановна.—Я думаю, пора домой.

— Домой? Ѣдемъ, голубка. Сейчасъ спрошу счетъ.

Катерина Ивановна стала прикалывать шляпку у зеркала, радуясь, что скоро сниметъ узкое платье.

Но вдругъ и ей стало ни съ того ни съ сего грустно. Такъ все хорошо, а вотъ, грустно. Вѣроятно, ей грустно оттого, что

Тосѣ кажется, будто поѣздка не удалась. Однако, чѣмъ она не удалась? Да можетъ быть ему это и не кажется?

Они вышли, сѣли на своего лихача и поѣхали домой. Не посвѣтлѣло, посвѣтлѣлъ пока только паръ отъ пароходовъ на Невѣ— сталъ бѣлый-бѣлый. Супруговъ обгоняли парочки, обнявшіяся, какъ и они. Пылью уже не пахло, а только водой. Совсѣмъ стало сыро. Мужъ заботливо укутывалъ поблѣднѣвшую Катерину Ивановну. Она взглянула на него и робко сказала:

— Какъ хорошо... Я такъ счастлива... А ты?

— Ты можешь сомнѣваться?

Больше они не говорили и скоро пріѣхали домой, гдѣ ихъ встрѣтила заспанная, но лукаво и поощрительно улыбавшаяся, горничная.

Катерина Ивановна съ успокоенной душой взглянула на свое чистенькое гнѣздышко и поспѣшно стала раздѣваться. Прояснился и Анатолій Саввичъ. Какъ тепло у нихъ послѣ ночной сырости. Острова, дѣйствительно, совсѣмъ на болотѣ.

Остатокъ ночи супруги провели въ ми-

лыхъ ласкахъ, въ привычныхъ, отрадныхъ проявленiяхъ любви. И, убаюканный теплотою спокойной радости, Анатолiй Саввичъ пересталъ мечтать—о Счастьѣ...

903

Странничекъ

На дворѣ черный сентябрьскій вечеръ. Что осенняя грязь на деревенской улицѣ, что небо надъ нею—одна чернота, и если-бъ все перевернулось вверхъ дномъ—глазъ не замѣтилъ бы перемѣны. Тепло, тихо-претихо, вѣрно тучи низко. Дождя нѣтъ.

Изъ этой ровной черноты, въ тотъ вечеръ, вынырнулъ странничекъ въ камилавкѣ, съ мѣшкомъ за спиной, и постучался въ Спиридонову избу. Окна были заложены ставнями, но межъ щелей свѣтилось.

Постучалъ странничекъ, попросилъ, Спиридонъ къ нему вышелъ, пустили.

Спиридонова изба просторная, бѣлая, не новая—да теплая: печь недавно перекладывали. Спиридонъ — мужикъ малопьющій, справный, а семьи—всего онъ да жена, и та изъ дальняго села взята.

Страннічекъ, войдя, помолился въ уголъ на образа, потомъ поклонился на всѣ четыре стороны.

— Ну, здравствуйте хозяинъ съ хозяйкой. Благослови и спаси васъ Господь, что приняли мя, страннаго, подъ кровъ свой на сію ночь.

— Ладно, расправляйся да садись къ столу,—сказалъ Спиридонъ.—Вечерять будемъ. Хозяйка моя соберетъ. А потомъ и на покой. Чего огонь жечь. Мы еще нонче на току не совсѣмъ управились. Поспѣшать, не занепогодило бы. Ты, отецъ, откудова?

— Изъ монастыря я, голубчикъ. Недалече, изъ Всесвятскаго. А иду-то далече. Благословилъ меня отецъ игуменъ постранствовать.

— Такъ. Ну собирай поѣсть-то Мавра. Слышишь, што ль?

Мавра до тѣхъ поръ неподвижно сидѣла у стола, сбоку, подъ маленькой керосиновой лампой, и молчала. Ситцевый платокъ, угломъ надвинутый впередъ, затѣнялъ ея лицо, но оно, когда Мавра встала, и на свѣту оказалось у нея все въ тѣни, темное-темное, словно заржавленное.

Молча пошла къ печкѣ, завозилась, но тихо; и тамъ—какъ во снѣ.

Спиридонъ, благообразный, русобородый молодой мужикъ, сѣлъ къ столу, покрестившись, и вздохнулъ.

Въ избѣ было тепло и довольно свѣтло, а между тѣмъ какая-то невеселая пустота, тоска висѣла по угламъ. И бѣлые часы съ розаномъ тикали невесело. Только страннічекъ юрко возился на лавкѣ со своимъ мѣшкомъ, что-то пришептывая, съ молитвенными словами, и шумно и дѣятельно вздыхая.

— Иди, страннічекъ, похлебай кваску,— сказалъ Спиридонъ. — Не знаю, какъ величать-то тебя.

— Памфилій, смиренный Памфилій я. Спаси тебя Христосъ. Мнѣ и кваску-то не надо бы, въ воздержаніи да сохраню плоть свою. Съ устатку развѣ. Въ пути сущимъ разрѣшается...

— Иди ужъ, иди, отче, — равнодушно сказалъ Спиридонъ.

Мавра подала хлѣбъ, чашку, ложки, отошла и сѣла опять на прежнее мѣсто къ уголку.

— Сама не будешь, что ль, ѣсть-то? — спросилъ Спиридонъ.

Мавра отвѣтила тихо, словно вздохнула:

— Нѣ...

Спиридонъ, схлебнувъ раза два, посмотрѣлъ на странничка, на его точно щипанную или молью ѣденную головенку и бородку, молодое еще, но уже морщенное, сѣроватое лицо,—и сказалъ, ни къ кому не обращаясь:

— Да... Эко горе у насъ... Хозяйка-то моя больно убивается. Очугунѣла инда вся.

— Бѣда въ дому-то у васъ?—спросилъ странничекъ. — Темны у хозяюшки очи, темны, вижу я. Что случилось-то? Чѣмъ Господь посѣтилъ?

— Да вотъ, дѣти не стоятъ у насъ,—пояснилъ Спиридонъ.—Въ пятницу мальчонку къ попу свезли. Четвертый это ужъ у насъ. Ну да тѣ, Господь съ ними, денъ по десяти, не болѣ, жили, — родился да померъ, что съ его? А этотъ, Васютка-то, по пятому году ужъ. Такой былъ утѣшный малецъ. И не знать съ чего—завертѣло-завертѣло, мучился еще сколько... Въ больницу она его носила... Такъ и померъ.

— Кабы не мучился-то, такъ ништо бы... ужъ ништо бы...—вдругъ заговорила Мавра изъ своего угла неожиданно громкимъ и

точно треснутымъ голосомъ.—А мучился-то какъ... покою ему сколько денъ не было. Возьму на руки, головка-то такъ и виснетъ, такъ и виснетъ. Плакать даже не плачетъ, а мнѣ въ глаза смотритъ. Что, молъ, тебѣ, Васюта? Чего тебѣ не дать ли, молъ, ласковый? А онъ смотритъ. А потомъ тихонечко такъ: „молочка бы ты мнѣ, мамка,— да не хоцца"... Молочка бы ему, вишь ты... да... да... не хоцца...

Мавра точно оборвалась и отвернулась.

Разсказывала она о Васюткѣ, вѣроятно, не въ первый разъ, и, вѣроятно, тѣми же словами и такъ же кончала.

Странничекъ глубоко вздохнулъ, сдѣлалъ опечаленное лицо и, перекрестившись, произнесъ:

— Упокой, Господи, душу новопреставленнаго младенца Василія. Его святая воля. Пути Господни неисповѣдимы. А ты, раба Божія Мавра, не ожесточай сердца своего. Со смиреніемъ и покорностью да пріемлешь испытаніе. Велики грѣхи и беззаконія наша, и нѣтъ кары ихъ достойной. Милосердъ еще Господь Богъ ко грѣхамъ нашимъ.

— Мальчишка-то больно утѣшный былъ, — сказалъ Спиридонъ задумчиво. —

Остались мы, какъ были, бобылями. Она, вонъ, сказываютъ, и родить больше не будетъ. Повреждено у ней что-то въ нутрѣ. Такъ и скоротаемъ вѣкъ. По крестьянству намъ безъ дѣтей тоже трудно. Да и малецъ ужъ очень хорошъ былъ.

Страничекъ даже подпрыгнулъ на лавкѣ и весь заморщился.

— Крестъ вашъ несите, по грѣхамъ вашимъ,—проговорилъ онъ радостно.—Вы что? Сказано: не любите міра, ни того что въ мірѣ: похоть плоти... Еще сказано: взгляните на птицъ небесныхъ—не сѣютъ не собираютъ въ житницы... А вы что? Къ образу міра сего прилѣпились, и наказуетъ васъ Господь за дѣла ваши.

— Мы что жъ...—произнесъ Спиридонъ равнодушно. Грѣшны мы, это точно... Одначе какіе жъ такіе особенные наши грѣхи? И мы грамотные; слыхали, сказано: въ потѣ лица зарабатывай хлѣбъ твой...

— Да гдѣ сказано-то? — накинулся на него Памфилій.—Когда сказано-то это было? Небось тогда Господь-то нашъ Іисусъ Христосъ еще на землю не приходилъ. А пришелъ—и было сказано: взгляните на птицъ небесныхъ... А еще: аще кто не оставитъ

отца и мать, и жену, и дѣтей... Видишь ты. Сказано это: дѣтей?

— Ну, можетъ и сказано...—съ неудовольствіемъ протянулъ Спиридонъ и устало зѣвнулъ.—Экій ты ярый, отче, погляжу я на тебя. Стелись да ложись, время позднее. Я что? Я только говорю: жалко. Это и словъ нѣтъ, жалко. Да и хозяйка моя больно убивается.

Онъ всталъ и, зѣвая и вздыхая, сталъ молиться, потомъ сложилъ поясъ и полѣзъ на печь.

Памфилій не успокаивался.

— То-то убивается. Многомилостивъ и долготерпѣливъ еще Господь ко грѣхамъ вашимъ. Почто возлюбили міръ сей и то, что въ мірѣ? Вотъ, поглядите на меня: весь я тутъ, многогрѣшный. Ни сѣю ни въ житницы не собираю, дни свои въ молитвѣ провождаю, либо въ странствіи, нѣсть у меня ни жены, ни дѣтей, ни другихъ какихъ прочихъ мірскихъ прилѣпленій, а всѣ мнѣ люди—братья, всякъ хорошъ, всякъ накормитъ. Помретъ кто—Божья воля; мое дѣло о душѣ его помолиться, вотъ и ладно. Вотъ и легко мнѣ. По путямъ Господнимъ иду. А вы плотію въ плоть вросли.

— Да буде тебѣ, — соннымъ голосомъ сказалъ Спиридонъ съ печи. — Мавра, чего посуду не сбираешь? Огонь тушить время.

Памфилій отошелъ къ лавкѣ, и сталъ утряхать мѣшокъ, собираясь ложиться. Говорилъ уже какъ бы про себя, невнятно, но со вздохами и тою же укоризною.

Когда Мавра подошла къ столу за посудой, онъ обратился къ ней:

— Такъ-то молодушка. Молись да кайся, авось Господь-то и не взыщетъ.

Мавра остановилась и глянула на него изъ-подъ платка. Она ужъ второй разъ на него такъ посмотрѣла.

— Чего Ему, Богу-то, съ меня еще взыскать?—сказала она.—Да что я? Мое-то мученье что. А Васютка-то чего мучился?

— За твои же за грѣхи,—отвѣтилъ странничекъ.

Она не вслушалась.

— Кабы вразъ-то померъ,—продолжала она тѣмъ же скрипучимъ, треснутымъ голосомъ.—А то не вразъ померъ. Головка такъ и виснетъ, такъ и виснетъ. Мамка, говоритъ, молочка бы мнѣ? Молочка бы, вишь,—да не хоцца...

Она опустилась на лавку у неприбраннаго стола и замолкла.

— Грѣхи твои, говорю, это—убѣдительно повторилъ странничекъ. — За твои грѣхи мучился. Не замолишь — и на томъ свѣтѣ младенчику спокою не будетъ. Все такъ-то будетъ мучиться.

Мавра очнулась и опять поглядѣла на странничка.

— Это за мои-то грѣхи?

— За твои. И теперь скорбію своею пуще грѣшишь. Бо сказано: не любите міра, не любите...

Странничекъ говорилъ, уже совсѣмъ почти умостивъ мѣшокъ къ углу и собираясь, совершивъ молитву, окончательно улечься. Но не успѣлъ онъ кончить своего: „не любите міра, не любите того, что въ мірѣ", какъ Мавра точно сорвалась съ мѣста и вплотную подскочила къ лавкѣ:

— Вонъ иди, вотъ что...—сказала она.— Вонъ изъ избы, сомуститель!

Странникъ опѣшилъ.

— Да что ты, баба,—взбѣсилась?

— Вонъ, говорю,—повторила Мавра.— Охъ, и безъ тебя свѣту въ глазахъ нѣтъ.

А ты ровно про̀клятый, со грѣхами со своими. Иди сейчасъ!

Она была баба сильная, рослая, и лицо у нея было такое страшное, темное, словно заржавленное. Худенькій странничекъ испугался.

— Да что это, Господи Іисусе, Мать Пресвятая Богородица! Что ты? очнись ты, баба! Дай я молитву сотворю...

— Вонъ, говорю тебѣ, — завизжала Мавра.—О мученьяхъ твои молитвы всѣ, не надо твоихъ молитвъ! Вонъ сейчасъ, пока руками тебя не разорвала...

Она уже оттѣснила его къ двери, и тащила за нимъ мѣшокъ, чтобы выбросить. Странничекъ, растерянно и плаксиво закричалъ:

— Что жъ это? хозяинъ, а хозяинъ? Слышь, баба твоя взбѣсилась, ночью страннаго изъ дому гонитъ... Хозяинъ!

Спиридонъ проснулся и завозился на печи.

— Гонитъ? Ну ее, плюнь. Не въ себѣ она. Плюнь, говорю. Въ сѣняхъ ляжь, тамъ тепло. Ничего.

— Да что жъ это? за что это? будь ты, баба, прок...

Мавра вытолкнула его въ сѣни, выбросила съ грохотомъ его мѣшокъ, захлопнула и заложила дверь.

Спиридонъ опять завозился.

— Чего ты, дурища? И впрямь оглашенная. Чего ты страннаго изъ избы выгнала? Эй, баба, страху на тебя нѣтъ... Подожди, дай срокъ.

Мавра стояла посреди избы и тяжело дышала. Наконецъ выговорила:

— Силушки не хватило... Проклятый онъ, Спиридонъ Тимоѳеичъ... Васюту моего, говоритъ... На томъ свѣтѣ, говоритъ, за грѣхи... Не любите, молъ, говоритъ... Что жъ это? Здѣсь-то мало мучился? Хоть бы вразъ-то померъ... Самъ знаешь, померъ-то не вразъ. Головка-то виснетъ... Мамка, молъ, молочка бы мнѣ... да не хоцца...

Мавра, какъ ударенная, упала на лавку и не то зарыдала, не то завыла, безъ слезъ, что-то приговаривая и приникая къ столу сухимъ лицомъ.

Спиридонъ на печкѣ возился, вздыхая, но молчалъ.

903

Вѣчная „женскость“

Студентъ Коковцевъ пріѣхалъ изъ Петербурга въ имѣніе матери, за Теріоками, совершенно неожиданно, — свалился, какъ снѣгъ на голову. Пріѣхалъ подъ вечеръ, на чухонскихъ саняхъ, немного сумрачный, едва пообѣдалъ съ матерью и пятнадцатилѣтней сестрой Леночкой, и тотчасъ же отозвалъ мать въ угловую.

Тамъ онъ зашагалъ взадъ и впередъ длинными ногами и немедленно началъ разсказывать, какъ отъ него только что ушла жена.

— Двери-то, двери поплотнѣе запри, — простонала потихоньку мать, еще не старая женщина, съ покорнымъ, тонкимъ и сухимъ лицомъ. — Боюсь я, Леночка бы не услышала. Ахъ Боже мой, Боже мой!

Иванъ Коковцевъ приперъ дверь, потянулъ на нее портьеру, подошелъ для чего-то къ окну, но шторъ не спустилъ. Изъ

окна взглянулъ на него темноголубой просторъ снѣговъ и небесъ; еще стояли морозы, но вечера уже длиннѣли и синѣли,— не хотѣли оканчиваться.

— Просто опомниться не могу,—снова сказала мать.—Вѣрить не хочется. Мы ли ее не знали. Вѣдь она съ шестнадцати лѣтъ у меня жила, съ тѣхъ поръ, какъ сиротой осталась. И ужъ любила-то тебя, любила!

Иванъ усмѣхнулся.

— Можетъ быть и любила.

— Можетъ быть! Забылъ ты, что ли, исторію-то эту? Вѣдь изъ-за тебя же она отравлялась. Съ тѣхъ поръ и пошло. Тогда и узнали мы. Послѣ того ты и женился.

— Я помню, мама. И развѣ я не вѣрилъ? Ты знаешь какъ я ее полюбилъ и пожалѣлъ.

— Ахъ, Варя, Варя! Да разскажи ты мнѣ, Иванъ, толкомъ, что вышло? Вѣдь на праздникахъ еще вмѣстѣ вы у меня здѣсь гостили. И ничего я въ ней дурного не замѣчала. Поссорились вы, что ли? Три года жили—и поссорились.

— Мамочка,—заговорилъ Иванъ.—Мы вовсе не ссорились. Послушай, мнѣ надо разсказать. Это все иначе вышло.

Онъ помолчалъ, продолжая шагать изъ угла въ уголъ. Мать слѣдила за нимъ глазами, привычно любовнымъ взоромъ лаская его красивое, молодое, но не очень юное, лицо, и свѣтлые волосы, пышно лежащіе. Иванъ былъ ея единственный сынъ.

— Она, Варя, ушла къ тенору одному,— сказалъ Иванъ.

— Какъ къ тенору? Къ какому тенору? Это еще что такое?

— Есть тамъ одинъ пѣвецъ. Онъ у насъ бывалъ. Ты, мамочка, вѣдь, къ намъ въ городъ рѣдко пріѣзжала не знала ничего о томъ, какъ мы жили послѣднее время.

— Ахъ, бѣдный мой! Ахъ, несчастный! Къ тенору ушла! Были бы у васъ дѣти, ничего бы этого не случилось. Теперь ты кончаешь, у тебя экзамены,—а тутъ такое потрясеніе. Къ тенору! Какой же дрянью надо быть... Не ожидала я этого отъ Вари, могу сказать, не ожидала!

Иванъ не слышалъ, да и не вслушивался.

Онъ разсказывалъ:

— Вотъ какъ это случилось. Варя моя, можетъ быть, стала скучать со мною. Вѣдь ужъ три года она со мною прожила. Послѣднее время я много занимался. Това-

рищи, которые приходили ко мнѣ, ей казались неинтересными. Я-то, впрочемъ, съ Варей обо всемъ всегда говорилъ. Я говорилъ—а она слушала. Теперь я припоминаю, что она только слушала и отвѣчала кратко одно: что понимаетъ. А когда я ее разспрашивалъ, о ней и о томъ, что она думаетъ,—она ничего не говорила. Ну, любила меня конечно. А у меня такая особенная нѣжность къ ней росла. Она веселая женщина, живая, говорливая, пѣвунья, кокетливая, ребячливая,—вѣдь она хорошенькая женщина. Всегда говорила, что любитъ меня, потому и отравлялась тогда, что любила, и что когда кто-нибудь дѣйствительно любитъ — то отравляется, потому что это цѣльно.

Я ее никогда не ревновалъ. У нея свое общество мало-по-малу завелось. Богъ съ ними, я никого не сужу. Конечно, казалось, что тутъ что-то не то, пустельга да суета, однако если Варѣ съ ними веселѣе... Понемногу отъ насъ всѣ общіе знакомые отстали, я со своими, Варя со своими, офицеры у нея бывали, актрисы какія-то, музыканты, художникъ одинъ—изъ неизвѣстныхъ. Варя мнѣ сказала, что у нея открылся

голосъ, и что она будетъ учиться пѣть. Она такъ боялась всегда, что я чѣмъ-нибудь стѣсню ея свободу, что-нибудь скажу,—и преподозрительно на меня посмотрѣла:

— Ты, можетъ быть, мнѣ запретишь?

Я ужъ самъ началъ бояться ея, — какъ бы ей чего-нибудь невольно не запретить.

И она стала брать уроки пѣнія. Тутъ, кажется, и теноръ этотъ появился. Ея часто дома не бывало. Мы съ ней естественно стали дальше. Но когда встрѣчались, — я попрежнему къ ней — съ нѣжностью и съ боязнью, и она очень хороша. Говорила о вѣчной любви. Говорила, что у нея темпераментъ артистки, душа художника, чувства цѣльной женщины.

Едва уговорилъ я ее на Рождество поѣхать вмѣстѣ сюда, въ деревню. Поѣхала, пожила, и—помнишь?—на недѣлю раньше меня укатила.

Когда я пріѣхалъ домой,—въ городскую квартиру,—горничная мнѣ говоритъ:

— А барыня нынче утромъ пріѣхали—такъ сказывали, что вы только завтра будете.

Я не понялъ и спросилъ:

— Какъ нынче? Она ужъ недѣлю тому назадъ пріѣхала.

И вдругъ спохватился, покраснѣлъ и прибавилъ по-дурацки:

— Ну, можетъ быть. Можетъ быть.

Прошелъ къ Варѣ. Она за столомъ, у себя въ будуарѣ, что-то пишетъ. Увидала меня — прикрыла письмо. Точно я читалъ когда-нибудь ея письма.

— Гдѣ ты была?—спросилъ я.—Не дома?

Она встрепенулась:

— Кто тебѣ сказалъ?

И тотчасъ же, не ожидая отвѣта, быстро заговорила, что это цѣлая исторія, что она должна была отправиться въ Царское, къ одной пріятельницѣ — пѣвицѣ, которая больна, и вообще тамъ происходила какая-то трагедія о которой она не имѣетъ права мнѣ говорить, такъ какъ это меня не касается.

— Ужъ не ревнуешь ли ты меня? О, ты мнѣ можешь вѣрить, Ваня. Но ты меня не понимаешь. Мы живемъ чувствами, обаяніемъ искусства. Ты немного разсудоченъ, и въ тебѣ нѣтъ гуманности. Но я тебя одного люблю, никого, кромѣ тебя. Не стѣсняй же моей свободы, тебѣ тутъ многое недоступно, непонятно.

Мнѣ, дѣйствительно, было—не то, что

многое, а, пожалуй, все непонятно и страшно. Но какъ же стѣснять человѣческую—если это человѣческая—свободу? Если бъ еще у меня чувство „собственности“ къ Варѣ было (это бываетъ у иныхъ къ женщинамъ, на извѣстное время, короткое или долгое)—но чувства „собственности“ у меня къ Варѣ никогда не было.

Я и ушелъ. Тутъ она стала пропадать по цѣлымъ днямъ и уже ничего мнѣ не говорила, или такъ, скажетъ какой-то пустякъ, видно, что неправду, и посмотритъ искоса, точно боится меня; боится, что я не повѣрю. Вѣчно взволнованная, глаза блестятъ. Однажды вернулась въ пять часовъ утра. Потомъ какъ-то услышалъ я, случайно, говорили о ней двое, — съ грязными усмѣшками, грязными словами. Такъ говорили, что я одинъ могъ понять, что это о ней. Ничего нельзя было сдѣлать.

Однако, я увидѣлъ, что длить это нельзя; невозможно и нехорошо становится для обоихъ. Понимаю это одинъ я, значитъ я и долженъ тутъ дѣйствовать. Вообще я тутъ многое началъ понимать. Прежде всего — крайнюю свою глупость. Я вѣдь мало видѣлъ женщинъ: что же? одну Варю. Ни

раньше, ни послѣ сталкиваться не приходилось. Варя же была, какъ я привыкъ думать, отъ себя не разсуждая, моя „подруга жизни“; я привыкъ, что мы оба — „люди“, прежде всего. А тутъ я вдругъ увидалъ, что она дѣлаетъ совершенно не то, что я бы дѣлалъ или другой человѣкъ, и я даже не понималъ, почему и для чего она все это дѣлаетъ. Допустивъ какую угодно артистическую натуру, — все-таки нельзя было ничего понять.

Понять нельзя; но какъ же сдѣлать, чтобы между нами стало все болѣе опредѣленно? Чтобы она перестала бояться? Поестественнѣе сдѣлать ея поступки?

И вотъ я рѣшилъ, что надо дѣйствовать тоже какъ нибудь не просто, а съ хитростью, но съ хитростью не очень хитрою. Отъ жалости рѣшилъ.

Я пошелъ къ ней въ комнату. И какъ вошелъ—такъ и сказалъ:

— Я знаю все.

Самъ чувствую, что это было дурацки. Что жъ ты думаешь? Она вдругъ вся поблѣднѣла; однако, встала, пожала плечами и говоритъ:

— Знаю, кто тебѣ сказалъ. Ну что жъ?

Что жъ? Тутъ ничего не подѣлаешь. И напрасно ты мнѣ грозишь. Ничего нельзя сдѣлать. Вѣроятно, я люблю этого человѣка.

Я стоялъ, а тутъ сѣлъ. До самой этой минуты всетаки сердце не вѣрило въ то, что разумъ уже понималъ.

— Какъ, любишь? Какая любовь?

— Онъ (назвала тенора) очень нуждается во мнѣ. Такова, видно, моя судьба. Я рождена артисткой. Ту недѣлю я должна была прожить у него...

Понимаешь, я знаю этого тенора, знаю, какая у него можетъ быть любовь къ ней;— все во мнѣ вдругъ стало окончательно яснымъ. Я всталъ и пошелъ прочь. Варя за мной. Я вошелъ къ себѣ и хотѣлъ запереться, но она вошла за мной, хотя была блѣдная, и даже шла какъ будто отъ испуга. Она всегда боялась — это самое тяжелое.

Я посмотрѣлъ на нее еще разъ — и не узналъ ее. Удивился, что говорилъ съ нею прежде. И всѣмъ своимъ старымъ, привычнымъ мыслямъ удивился.

Она хотѣла что-то сказать, но я ее перебилъ:

— Уйди.

— Ты ничего не можешь понять...

— Уйди, уйди совсѣмъ.

— Какъ, совсѣмъ?

— Такъ, совсѣмъ, и не возвращайся.

Она пожала плечами.

— Я и хотѣла сказать тебѣ, что ухожу. Дѣлать нечего. У него—я не могу жить, да и не хочу, я должна быть свободна, но онъ найметъ мнѣ комнату...

— Уйди, уйди.

Она сейчасъ же повернулась и вышла.

Я слышалъ, какъ она торопливо собиралась и совсѣмъ уѣхала. Потомъ на другой день еще присылала за вещами и за паспортомъ. Написала на незапечатанной бумажкѣ: „надѣюсь, вы не настолько подлы, чтобы предпринять какія-нибудь безумства и отказать мнѣ въ паспортѣ". Опять боялась. Я не отказалъ, конечно.

Тутъ Иванъ на минуту замолкъ, а мать простонала:

— Боже мой, Боже мой! Кто бы могъ думать, что она такая дрянная женщина. Бѣдный мой Ваня!

Иванъ удивленно взглянулъ на мать:

— Почему дрянная? Что ты, мамочка? Я не вижу, почему Варя дрянная женщина?

— Да что жъ тебѣ еще? Промѣняла тебя на тенора... Ужасно!

Мать, видимо, страдала: Иванъ былъ ея единственный сынъ.

— Ахъ, ничего она меня не промѣняла,— сказалъ Иванъ, досадливо морщась и занятый своими мыслями.

— Да вѣдь она тенора полюбила!

— Отчего полюбила? Я не думаю. Я потомъ узналъ, что она, дѣйствительно, въ тѣхъ же меблированныхъ комнатахъ живетъ, гдѣ и теноръ. Но теноръ очень занятъ. Она, вѣроятно, не долго будетъ имъ увлекаться. У Вари теперь большое и веселое общество. Она свободна. Къ ней, я думаю, другіе относятся лучше, разумнѣе, чѣмъ когда-то я относился. Только здоровье у нея хрупкое. Заболѣетъ, пожалуй. Я ей хочу написать, чтобы она, если заболѣетъ, вернулась ко мнѣ. Я ее выхожу.

— Ваня, да что съ тобой? Вѣдь это же безнравственно. И ты хочешь ей все простить? Извини меня, но это безхарактерность, это недостойно мужчины.

Иванъ опять посмотрѣлъ на мать съ удивленіемъ.

— Я никогда еще не думалъ, мамочка, о

себѣ — исключительно какъ о мужчинѣ. Я не знаю. А простить Варѣ я ничего не хочу, потому что не вижу, что прощать? И какая тутъ безнравственность? Это не касается ни людской нравственности ни безнравственности. Для меня теперь все стало совершенно ясно. Я прежде, по привычкѣ, взятой отъ людей, тоже въ этомъ родѣ судилъ. Конечно, жаль, что около Вари все это очень неказисто, суетливо, недостаточно блестяще, и теноръ изъ неважныхъ; жалко, что она тамъ устанетъ и заболѣетъ: но по существу разницы нѣтъ. Другія были бы формы,—а было бы все то же. Всегда все, приблизительно, то же. Я знаю, почему я не понималъ Варю и не могу понимать. Но нисколько она не „дрянная“ женщина. Не знаю, какая она женщина (не очень счастливая, удачливая, — это правда). Я знаю, что она — женщина. Женщину не надо совсѣмъ понимать. Если и временнаго чувства собственности нѣтъ—тогда жалѣть надо. Угрѣть, накормить надо, если есть близкая. Уйдетъ—оставить. Придетъ—угрѣть.

— Господи, да ты помѣшался. Ваня, Ваня, дорогой мой! Какъ это на тебя повліяло! Оставь, забудь эту негодную жен-

щину. Добейся развода. Ты такъ молодъ, ты еще полюбишь достойную тебя дѣвушку, честную, ты еще будешь счастливъ... Ты успокоишься...

— Мама, да что ты? Да развѣ возможно то, что ты говоришь: — жениться? Любить, ласкать, грѣть, отпускать—да. А жениться? Ты смѣешься надо мной?

Мать заволновалась, уловивъ легкій шумъ извнѣ.

— Ваня, ради Бога...—зашептала она.— Выгляни за дверь... Я боюсь, что Леночка слушаетъ... Это было бы ужасно, если бы она слышала. Она—такой ребенокъ.

Иванъ отворилъ дверь. На него, прямо въ упоръ, глянули красивые темные глаза, по своему умные, по своему правые, прекрасные, таинственные—и, въ ихъ вѣчной, въ ихъ собственной таинственности, совершенные; глаза того существа, которое всѣ уговорились считать и называть человѣкомъ,—и зовутъ, и стараются считать, хотя ничего изъ этого, ни для кого, кромѣ муки и боли не выходитъ.

Глаза блеснули и скрылись подъ рѣсницами. Леночка встала, неторопливо и без-

шумно ушла. Что она, случайно слышала? Или подслушивала? Безполезно было бы доискиваться правды. Развѣ она знала ее сама?

Иванъ вернулся въ угловую и молча, съ измѣнившимся вдругъ, усталымъ лицомъ поглядѣлъ на мать.

— Что, не было? — шепнула она и прибавила громко, со вздохами:

— Нѣтъ, Ваня, нѣтъ, дорогое дитя мое. Повѣрь, я понимаю тебя: ты еще любишь эту женщину, ты ослѣпленъ... Конечно, надо бы спасти ее, не дать ей окончательно погрязнуть... Я поѣду, я поговорю съ ней. Помочь можно, но простить — нѣтъ. Повѣрь, она тебя же станетъ презирать. Прощать въ такихъ случаяхъ... То есть въ этомъ случаѣ... Не могу и подумать. Тебя, моего красиваго, моего умницу—промѣнять на тенора! Ужасно! Ужасно! Это меня можетъ въ гробъ свести. Ваня, ты слышишь?

Иванъ поднялъ глаза, улыбнулся тихой, виноватой улыбкой—но не сказалъ больше ничего. Онъ такъ долго разсказывалъ матери о своемъ горѣ и о своемъ новомъ прозрѣніи,—и забылъ, что мать его—жен-

щина. Старая, милая, кровью рожденья привязанная къ нему; но и она—изъ тѣхъ же существъ, которыя даны міру, но которыхъ не дано понимать, которымъ не дано пониманіе; и она—женщина.

903

Не то

Ненужная исторія

I

Восемь лѣтъ прошло — цѣлыхъ восемь лѣтъ! А Викѣ искренно казалось, что этихъ восьми лѣтъ совсѣмъ не было.

Такъ же пахнетъ геранью и кухней въ маленькомъ домикѣ за оградой Спасо-Троицкаго монастыря, такъ же обѣдаютъ они въ зальцѣ съ окнами въ палисадникъ, и мать съ отцомъ совсѣмъ такіе-же. Старообразные, тихіе, всему, чего не понимаютъ, разъ навсегда покорившіеся. Безъ злобы и безъ особенной доброты, а просто.

Вотъ только братъ Тася—новый. Вика едва помнитъ его, трехлѣтняго, ревущаго и буйнаго. А теперь за столомъ сидитъ худенькій тихій мальчикъ въ парусинной блузѣ и смотритъ на Вику большими, чужими глазами. Кто онъ—неизвѣстно. Вика про него знаетъ только, что онъ не гимна-

зистъ, а семинаристъ, самъ пожелалъ; что у него теперь каникулы, и что онъ смирный и задумчивый, совсѣмъ не шалунъ.

О томъ, что было съ Викой за эти восемь лѣтъ, почему за все время не выбралось недѣли, чтобы повидаться—родители не разспрашиваютъ. Въ общемъ знаютъ, письма получали, а разспрашивать—что-же? Не поймутъ они, только горько и страшно.

Мать въ сущности довольна, что у Вики здоровый видъ, ей ужъ начинаетъ казаться, что и перемѣнъ особенныхъ въ лицѣ нѣтъ; мало-по-малу и она забываетъ, что прошло восемь лѣтъ. Такъ, разставались — а вотъ, слава Богу, и свидѣлись. И она свое разсказываетъ, торопится, о томъ, что у нихъ въ углу случалось, чего Вика не знаетъ.

— А помнишь ты, Вика, отца Геннадія нашего? Протоіерея? Ужъ такое близкое намъ семейство было, такое близкое...

Вика вспоминаетъ ясно и семейство, и самого толстаго, крикливаго и рослаго отца Геннадія.

— Такъ вотъ, нѣтъ ихъ здѣсь больше, Витенька, въ Нижній перевели. Жалость такая. А тутъ еще несчастіе у нихъ случилось...

— Ну, какое жъ это несчастіе... Сказать несчастіе—нельзя, вставилъ кротко отецъ.

— А счастье, по твоему? Ужъ помалкивай, Палъ Федоровичъ. Одно только: гляжу я— и думаю, обойдется это. Ты Виктуся, помнишь сына ихъ второго, Васюту?

— Да, кажется, помню, мама.

— Онъ постарше, должно быть, тебя будетъ. А не то помоложе. Такого ума былъ мальчикъ, такого ума... Первымъ шелъ въ семинаріи, мало этого—въ Петербургъ поѣхалъ, да академію кончилъ. И что жъ ты думаешь? О. Геннадій въ полной увѣренности, что ему дорога открывается—а онъ, на̀ тебѣ, въ монастырь!

— Въ монастырь?

— Да вѣдь что! При его образованіи онъ бы вскорѣ архіереемъ могъ быть, хоть и молодъ очень. Это, вѣдь, тоже какая дорога! А онъ—ни два ни полтора, постригаться—не хочу, іереемъ—недостоинъ еще, а въ послушники пошелъ! Въ простыхъ послушникахъ ужъ съ годъ, въ нашемъ же монастырѣ. О. Геннадій радуется, что хоть въ знакомомъ мѣстѣ. Приходитъ къ намъ часто, ну такъ я присмотрюсь, что изъ него дальше будетъ.

— Всякому свое,—сказалъ отецъ покорно и скучно. — Вотъ хорошо у меня мѣсто частное, тихое, домикъ свой, и такъ мы и проживаемъ вѣкъ безъ метанья. Да я къ духовенству, хоть и жили все рядкомъ, склонности не имѣлъ никогда. А есть призванія... Подвижническое стремленіе...

Викѣ не было скучно. Такъ хорошо, тихо, время не двигается, все все равно. Послѣ обѣда отецъ пошелъ спать, Тася куда-то безмолвно исчезъ. Было жарко, но не мучительно жарко, а ласковая духота стояла.

Зазвонили къ вечернѣ, тяжело и близко. Садъ монастырскій — точно лѣсъ, деревья высокія, густыя. До самаго обрывистаго берега рѣки.

Сидѣть такъ, на этомъ обрывѣ въ ласково-душный іюльскій вечеръ, слушать колокола вечеренъ, а больше ничего не нужно.

Впрочемъ—это кажется только, что хорошо. Кажется, что не было восьми лѣтъ. Но еслибъ и не было? Вѣдь когда не было, и Вика, упрямой и розовой гимназисткой, сидѣла на берегу и слушала колокола, — тоже было нехорошо, тоже хотѣлось со-

всѣмъ другого, и даже до ненависти къ тишинѣ, къ рѣкѣ и колоколамъ—хотѣлось!

Теперь ненависти нѣтъ. Тихая грусть— и радостное удивленіе. Точно восемь лѣтъ Вика не видала неба, воды, деревьевъ. А они есть. И это почему-то ужасно хорошо, что они есть. Но почему?

II

Пришелъ дня черезъ два, вечеромъ, и сынъ о. Геннадія, Васюта.

Вошелъ робко, весь узенькій, высокій, въ черной ряскѣ съ кожанымъ поясомъ. Волосы у него отросли и слабо, вяло закручивались у плечъ. Бороды и усовъ почти не было. Лицо испуганное, нѣжное и строгое.

Вика съ любопытствомъ на него поглядѣла. Онъ взглянулъ разъ и потомъ долго не глядѣлъ.

Онъ помнилъ ее хорошо. Слышалъ уже, что дочка Павла Федоровича вернулась. Зналъ о ней все, что другіе знали. Какъ она въ семнадцать лѣтъ на курсы уѣхала, какъ „революціонеркой“ стала, въ заключеніи годъ провела, потомъ въ Женеву

ѣздила... Пока онъ въ Петербургѣ жилъ, въ академіи — ничего не слыхалъ тамъ о ней, это здѣсь всѣ слухи.

А такая простая. Курсистокъ онъ мелькомъ въ Петербургѣ видалъ. Но вообще съ женщинами никогда не разговаривалъ. Боялся очень, и не было интереса.

— У Васи голосъ хорошъ,—сказала Анна Ивановна.—На клиросѣ поетъ. Вотъ пойди, Вика, послушай какъ-нибудь.

— А развѣ вы въ церкви бываете?—проговорилъ Вася какъ то въ сторону и вдругъ покраснѣлъ и сжалъ брови.

— Я давно не бывала... Здѣсь-же, въ нашемъ монастырѣ бывала, когда дома жила,—отвѣтила Вика съ удивленіемъ: ей пришло въ голову, что за восемь лѣтъ она въ первый разъ вспомнила, что люди въ церковь ходятъ. Точно тамъ, гдѣ она жила, не было церквей такъ же, какъ не было воды, лѣса и неба.

— Я теперь почти никогда не пою, — продолжалъ Вася.—Но вы все-таки пойдите. У насъ хоръ славный.

И замолкъ. У Вики было красивое, смуглое, очень строгое лицо. Почти до тупости строгое. Вася и такъ боялся, потому

что это была женщина, а отъ строгости у него даже внутри дрожало что-то.

Вышелъ братъ Тася, взглянулъ, странно, неуклюже поздоровался съ Василіемъ Ивановичемъ, вспыхнулъ весь и тотчасъ же скрылся.

Мать говорила. Вика послушала-послушала и вышла на крыльцо. Мигали теплыя, большія, предавгустовскія звѣзды. Деревья сада монастырскаго недвижно чернѣли впереди.

— До свиданья,—кто-то сказалъ около нея.

Вика обернулась и сразу не сообразила, что это Вася-послушникъ. Не узнала его въ длинной рясѣ.

— Вы уходите? Вамъ прямо? Я съ вами сойду. Мнѣ пройтись хочется.

Вася ничего не отвѣтилъ. Пошли молча. Вика сообразила, что, можетъ быть, нельзя ходить съ послушникомъ-монахомъ ночью.

— Можетъ быть вамъ нельзя со мною?— спросила она неловко.

— Нѣтъ, отчего-жъ? Вы за оградой живете; да пожалуй, и ворота еще не заперты. Мнѣ недалеко, вотъ черезъ двѣ аллеи.

А Викѣ все-таки чудилось, что она что-то неловкое ему дѣлаетъ. Отстать хотѣлось, но вмѣсто того она вдругъ спросила:

— Вы, вѣдь, не монахъ?

— Нѣтъ, я послушникъ.

Вика это знала. Ей захотѣлось, чтобъ онъ съ ней поговорилъ просто.

— А я слышала... Вы, вѣдь, академію кончили... Вы могли бы сразу... какъ это? священникомъ-монахомъ быть, если бъ захотѣли.

— Да... Но я чувствовалъ себя недостойнымъ постриженія. И вообще... Да впрочемъ что объ этомъ. Извините.

Вика ободряюще повернулась къ темной узенькой тѣни, которая двигалась немного сзади нея. И ей стало жалко почему-то, что онъ идетъ сзади и боится.

— Вы меня боитесь?—спросила она.

— Нѣтъ, такъ... Я не привыкъ разговаривать.

— Ни съ кѣмъ не привыкли?

— Да, и вообще...

— Грѣхъ это, что-ли?

— Отчего грѣхъ? Нѣтъ, что вамъ? Вы даже не изъ любопытства спрашиваете. А такъ. Ну и не стоитъ.

Викѣ сдѣлалось непріятно и странно. Зачѣмъ она спрашиваетъ? Вѣдь онъ точно съ другой планеты. Совсѣмъ не человѣкъ для нея. Монахъ. Она и забыла совсѣмъ, что есть монахи. Потомъ она вспомнила, что онъ академію кончилъ. Не просто же монахъ. Да и не монахъ онъ еще.

Они уже повернули во вторую аллею.

— Ну прощайте,—сказала Вика.—Я теперь пойду одна. Еще къ обрыву, можетъ пойду.

Вася остановился и нерѣшительно, какъ-то издали, протянулъ ей руку.

— А не боитесь? Тамъ темно очень теперь.

И прибавилъ торопливо:

— Вы меня простите, не сердитесь. Я рѣдко съ кѣмъ разговариваю, не приходится. Можетъ быть не такъ что-нибудь... Вы спрашиваете меня, а я не отвѣчаю. Я изъ-за непривычки. У васъ жизнь, вы пріѣхали и опять въ свою жизнь уѣдете, а я жизни и не видывалъ никогда. Я мертвый.

— Что вы? Отчего мертвый? Вы...

Но она не знала, что сказать еще. Такъ ей было странно.

А онъ безмолвно поклонился и какъ-то

сразу исчезъ за деревьями. Вика постояла и пошла къ обрыву. Рѣка чуть свѣтлѣла подъ звѣздами. Хорошо, душно и странно. Живая вода, мертвые люди...

Здѣсь нѣтъ жизни для людей, это правда. Живыя звѣзды, живая вода... Викѣ вспомнилось, какъ она восемь лѣтъ тому назадъ, рвалась отсюда, изъ монастыря, въ „жизнь“, къ „живымъ людямъ“.

И ушла. Что жъ, жила? Видѣла живыхъ людей, за которыхъ отдала живую воду и звѣзды?

Вика не знаетъ. Она мало думала объ этомъ. Некогда было. Никогда не умѣла заниматься долго своей психологіей. И теперь она не знаетъ, когда была жизнь у нея, ея собственная, и гдѣ она. Тамъ, здѣсь,— вездѣ какъ будто монастыри. Ужасно разные, со звѣздами или безъ звѣздъ, но монастыри. И вездѣ—не то, что очень душно, но все же нѣтъ чего то, что можетъ быть, какъ разъ и есть „жизнь“.

Викѣ давно стыдно.

Отъ глухого стыда она и пріѣхала домой, въ ямку спрятаться. Ей стыдно, что то̀, что она всегда признавала настоящей жизнью, настоящимъ дѣломъ, за что стра-

дала и боролась,— вдругъ ей... не то наскучило, не то ее утомило; почти физически. И не наскучило, и не утомило, а какъ-то отпала она, точно больная стала, безучастна, безъ вкуса. Сначала думала, что пройдетъ. Особенно яркаго участія въ кружкѣ она никогда не принимала, прямого: террористкой не была; не любила и говорить о „дѣйствіяхъ", которыя, однако, молчаливо признавала, какъ необходимыя. Тутъ и въ слабости себя не укоряла, и всѣ знали, что она сама на прямое „дѣйствіе" не пойдетъ, не изъ трусости, а по своему характеру. Она своей смерти не боялась, а чужой. Къ чужой смерти не могла близко подойти, тутъ тупа была, и упряма.

Однако много дѣлала, все время, всѣ восемь лѣтъ въ одномъ этомъ пробыла, какъ одинъ день восемь лѣтъ. Столько разнаго страшнаго, неожиданнаго, — а обернуться назадъ—какъ одинъ день, потому что все въ одномъ кругѣ, въ однихъ этихъ чувствахъ и мысляхъ. Одиннадцать мѣсяцевъ въ тюрьмѣ—и это то же самое, какъ одна минута въ томъ же днѣ.

Такъ шло, а потомъ она замѣтила, что устала. Устала отъ этого безконечнаго дня.

Можетъ быть пройдетъ. Само вышло, что сюда захотѣлось поѣхать. Здѣсь другое, здѣсь ночь, здѣсь отдохнуть. А потомъ вернется.

И что-жъ, опять туда? Опять за безконечное дневное дѣло, все одинаковое, къ одинаковымъ людямъ? Они живые. Вѣроятно, живые. Они дѣлаютъ, горятъ, умираютъ. Конечно, живые!

Только Вика ихъ не знаетъ совсѣмъ. Она никого не любила, некогда любить, заниматься другъ другомъ, когда вмѣстѣ работаешь. Такъ и не присмотрѣлась, не успѣла. Теперь старается вспомнить... Трудно! Но конечно живые люди.

Только пока лучше не думать о нихъ. И ни о чемъ. Отдохнуть просто.

III

— Строгая ты какая, Виктуся,—сказала мать робко.—Молодая дѣвушка, а все читаешь, и одѣваешься, какъ монашенка. Всѣ у васъ въ Питерѣ такія, что-ли?

Вика улыбнулась. Припомнилось вдругъ, что ее и „тамъ“ строгой называли. „Радина — точно монахиня“. Впрочемъ, въ

шутку. Да и всѣ, если припомнить, немножко такія же были. Она только помолчаливѣе другихъ.

Тася братъ услыхалъ.

— Она — сильная, мама. На лодкѣ ѣздили — такъ не устаетъ, гребетъ, точно мужчина. А только-только выучилась.

Вика подружилась съ Тасей. Но все чего-то въ немъ не понимаетъ. Что-то есть.

— Охъ, замужъ бы тебѣ, Витенька, — сказала мать, ужъ совсѣмъ робко. — Да жениховъ у насъ нѣтъ.

И окончательно испугалась, потому что Вика встала и вышла, сказавъ со скукой:

— Ну, мама, какіе тамъ женихи...

А Тася засмѣялся:

— Не выйдетъ она за вашихъ жениховъ! У нея, можетъ, такіе женихи въ Петербургѣ! Сказали, тоже!

Вика услыхала, выходя, слова Таси и не улыбнулась, а еще больше задумалась. Ей въ первый разъ пришло въ голову, что, вѣдь, дѣйствительно, у нея могли бы быть женихи, что можно выходить замужъ, а съ маминой точки зрѣнія даже должно. Ну, это глупости, конечно, замужъ и женихи, но вѣдь есть любовь... Какъ-то и объ

этомъ не думалось пристально. Тоже некогда было. Случалось у нихъ, всего бывало, конечно, но Вика вспомнила, что она съ величайшимъ презрительнымъ осужденіемъ, даже съ негодованіемъ, относилась ко всѣмъ этимъ исторіямъ. Время ли заниматься личными страстишками да психологіями! Вика была пряма и строга.

Ей пришла на память одна исторія. И теперь, на обрывѣ (она опять была на монастырскомъ обрывѣ, и солнце садилось за рѣкой)—Вика безъ отвращенья, а почти съ любопытствомъ, стала припоминать эту исторію.

Студентъ Леонтьевъ. Красивый, сильный, черный, румяный. Давно въ Сибирь сосланъ, пропалъ гдѣ-то тамъ. А дѣльный былъ человѣкъ, горячій, ловкій. Такъ вотъ онъ, одинъ разъ... Это было еще когда она на третій курсъ переходила, на шестой линіи Острова въ узенькой-преузенькой комнаткѣ жила.

Онъ пришелъ вечеромъ, по дѣлу. Чай пить остался. Ничего она раньше въ немъ, кромѣ полезнаго и хорошаго, не замѣчала. Ближе другихъ онъ ей былъ, это правда. Говорили долго, потомъ умолкли. И вдругъ онъ со своего стула повернулся къ ней круто,

обнялъ крѣпко, сразу, и тихо и горячо что-то сталъ говорить. Вика помнитъ его влажные, сіяющіе и счастливые глаза. Потомъ онъ поцѣловалъ ее, въ самыя губы, и еще разъ, и опять.

Вика хочетъ быть искренней теперь, здѣсь, на солнечномъ обрывѣ надъ водой. И она вспоминаетъ, что эти единственные, первые, три поцѣлуя облили ее странной жутью, а мыслей никакихъ не было. Не было ихъ и въ слѣдующее мгновеніе, когда эта сладкая и властная жуть превратилась сама собою въ такое же властное отвращенье, отталкиванье отъ красиваго и грубо-сильнаго человѣка-самца. Онъ какъ будто захватывалъ ее, тащилъ ее, дѣлалъ что-то съ нею: цѣловалъ ее, потому что такъ ему было пріятно, и ей показалось что она превращается въ неподвижную вещь. Безъ словъ и безъ мысли показалось, только сдѣлалось страшно и насквозь отвратительно.

Она тотчасъ же встала, и говорила какія-то обычныя, возмущенныя слова, говорила, что оскорблена и негодуетъ. Леонтьевъ понялъ, что она точно, непритворно, оскорблена и негодуетъ.

— Значитъ, вы меня не любите?—ска-

залъ онъ грустно. И не то притихъ, не то опустился.

Она даже не отвѣтила. Выпроводила его съ тѣмъ же отвращеньемъ. Онъ ушелъ. Потомъ она избѣгала его намѣренно. Любовь! Физіологія, и больше ничего. Ей не нужна эта физіологія, и слава судьбѣ.

Осталось, однако, странное воспоминаніе жути поцѣлуевъ. Но сплетенное съ такимъ же страннымъ отвращеньемъ, ощущеньемъ чужого захвата, ничѣмъ не оправдываемаго насилія одного человѣка надъ другимъ.

Ну, вотъ и все. Раздумывать надъ этимъ некогда было, да и скучно. Да и не умѣла Вика размышлять надъ такими вещами и переворачивать ихъ. Любовь, просто, не для нея, ежели любовь такова. Потому что вѣдь въ смыслѣ человѣческой привязанности—она очень любила Леонтьева, больше другихъ уважала его.

Что же еще было? Рѣшительно ничего. Она такъ искренно-строго держала себя съ тѣхъ поръ, что никому и въ мысль не приходило объясняться ей въ любви. Впрочемъ, если сказать правду, то и у всѣхъ, съ кѣмъ она тогда общалась, мало было любовныхъ исторій. Тоже некогда.

— Дѣйствительно, монастырь, — подумала Вика и улыбнулась.—Это-то хорошо...

Вдругъ, совершенно необъяснимо, какъ будто безъ всякой связи, Викѣ вспомнился другой случай ея жизни. Тоже въ Петербургѣ, тоже въ маленькой студенческой комнаткѣ на Островѣ, бѣлой весенней ночью.

Поздно, часу въ первомъ, къ ней пришла, прибѣжала, вся въ слезахъ, ея товарка, Юля Власьева. У Вики не было близкихъ друзей и подругъ, къ женщинамъ она относилась такъ же просто, товарищески-отдаленно и уважительно, какъ къ мужчинамъ. Но эта Юля, маленькая, слабая и безпомощная, хотя вѣрная и всегда на все готовая, внушала Викѣ смутную жалостливую заботливость. Что съ ней будетъ? Она такая горячая. Но ей надо во-время указать, во-время навести...

И вотъ Юля прибѣжала къ ней ночью (почему именно къ Викѣ — она и сама не знала) — сказать, что арестовали и увезли ея брата. Всѣ знали, что если его арестуютъ — то ужъ не выпустятъ. Онъ былъ изъ „серьезныхъ“.

Юля сидѣла на постели, сложивъ руки

на колѣняхъ, а слезы такъ и бѣжали у нея по щекамъ.

— Ты не знаешь, Радина, ты не знаешь... Колю я обожаю, я не могу, не могу... Пусть это слабость, но пусть бы меня взяли, или кого угодно, только не его... Это такой ужасъ... Надо дѣйствовать, я понимаю, но что дѣлать? И какъ я могу перенести?

Вика, не допускавшая никакихъ нѣжностей, невольно, однако, обняла плачущую дѣвочку, утѣшала ее, какъ умѣла, не упрекала въ слабости, просто гладила по волосамъ. Не говорила серьезно, хотя само по себѣ дѣло ареста Власьева было серьезное.

Но Вика думала о Юлѣ; хотѣлось, чтобъ она не плакала. Хотѣлось прижать ее къ себѣ, успокоить, утѣшить. Поцѣловать крѣпко, заставить улыбнуться, можетъ быть заставить забыть брата. Жалость и сладкая нѣжность къ этому безпомощному, одинокому ребенку томили сердце.

Когда Юля, наплакавшаяся, заснула на постели Вики, поребячески подложивъ руку подъ щеку, Вика долго еще стояла у окна, глядѣла на блѣдно-зеленое, разцвѣтающее

небо, и ей было странно: не то весело — не то грустно, не то жалко Юли, не то досадно, что она такъ плачетъ о братѣ, такъ любитъ его.

— Еслибъ я была ея братомъ... Я бы охраняла ее, я бы вела ее... Николай все-таки мало думалъ о ней... А ей нужно, чтобы о ней думали, заботились... Она — мягкій воскъ... Любящая и покорная...

Такъ думалось ей. Или чувствовалось. Потомъ вдругъ сбернулась, взглянула на дѣтски-спящую Юлю, безпомощную, нѣжную и неподвижную... и вдругъ эта Юля стала ей противна. Самая жалость обратилась въ отвращенье. Вести, нести ее, точно вещь! Нѣтъ, хорошо, что Юля не любитъ ее, не цѣпляется за нее; не хочетъ Вика никуда ее тащить, дѣлать за нее, дѣлать что-то изъ нея! И чего она пришла со своими безпомощными, бабьими слезами! И вѣдь утѣшилась, чуть въ щечку поцѣловали! Вика хотѣла разбудить ее и сказать, какъ это унизительно и глупо. Но не разбудила.

А на утро все прошло. Николая, къ удивленію, скоро выпустили и они съ сестрой тотчасъ же уѣхали заграницу. Вика

потомъ встрѣтила Юлю мелькомъ въ Женевѣ. Юля растолстѣла, стала крикливая. Вика ни о чемъ не вспомнила.

Отчего вдругъ теперь вспомнила, думая о себѣ, о Леонтьевѣ? Влюблена она, что-ли, въ эту Юлю была тогда? Какое слово гадкое! И какъ тутъ все дико и глупо спутано.

Вика повернула голову. Увидала на краю обрыва, поодаль, тоненькую черную фигурку въ подрясникѣ. „Вася этотъ, монахъ!“ догадалась Вика. По длиннымъ, вялымъ волосамъ узнала,—камилавку онъ снялъ.

Сидитъ, не оборачиваясь, согнулся, на закатъ смотритъ. А солнце уже зашло, сумерки.

Сама не зная зачѣмъ, Вика его окликнула: „Васюта!“ И неловко ей стало. Но какъ же его называть?

Онъ вздрогнулъ, спохватился, но тотчасъ же всталъ и подошелъ къ ней.

— Вы извините, Василій... Геннадіевичъ,—заторопилась Вика,—я васъ Васютой... Но просто не сообразила...

— Нѣтъ, вы ужъ пожалуйста... У васъ всѣ издавна меня такъ зовутъ. Я ужъ привыкъ...

Онъ стоялъ передъ ней, не зная, что ему дальше дѣлать.

— Сядьте, здѣсь рѣка виднѣе,—сказала Вика.—Вы на рѣку смотрѣли?

Онъ неловко сѣлъ, поджавъ ноги. Вѣтеръ чуть шевелилъ его слабые, длинные волосы. Узкое лицо казалось нѣжно-розовымъ въ лучахъ заката. Что-то безпомощное, испуганное—но и суровое было въ немъ, въ складкахъ длиннаго платья и въ выраженіи губъ.

— На солнце смотрѣлъ, — проговорилъ онъ.—Хорошо закатывалось. Я часто сюда подъ-вечеръ прихожу.

— Вы любите природу?

Рѣшительно, Вика не знала, что съ нимъ говорить, и какъ.

— Нѣтъ, что жъ,—сказалъ онъ и потупился.

Испугался.

Тогда Викѣ стало его мучительно жалко, но и досадно, что онъ такъ боится, а она не умѣетъ завязать съ нимъ разговора. И она спросила почти грубо:

— Что же вы любите?

— Вотъ, сидѣть здѣсь люблю. Еще службу предпраздничную, торжественную,

особенно архіерейскую, люблю. Приходите ко всенощной въ середу, подъ Спасъ архіерей пріѣдетъ. Я навѣрно иподіакономъ буду. Очень хорошо у насъ служатъ.

— Странно, вы академію кончили, въ Петербургѣ жили,—а совсѣмъ неинтеллигентны, – сказала Вика жестко.

Боится—такъ пусть же и боится. Или пусть обидится.

Но Васюта не обидѣлся. Кротко и просто подтвердилъ:

— Да, куда же мнѣ! Я не умѣю разговаривать. Въ Петербургѣ жилъ книжно, затворнически. Здѣсь тоже. И вообще я мертвый человѣкъ.

— Почему вы мертвый? — сердито сказала Вика.—Вѣчно повторяете. Что жъ отъ мертвости и въ монахи пошли?

— Нѣтъ, я не монахъ. Я, можетъ, и не постригусь никогда.

— Такъ и будете все послушникомъ? Или что будете дѣлать?

— Самъ еще не знаю,—сказалъ Васюта медленно; онъ смотрѣлъ въ даль, охвативъ руками колѣна. — Характеръ у меня нерѣшительный. А сомнѣнія великія.

Вика заинтересовалась.

— Сомнѣнья? Какія, религіозныя?

— Да какъ вамъ сказать? Самъ не знаю. Просто скажу. Въ Бога я вѣрю. И въ Христа вѣрю...

Тутъ онъ строго и твердо взглянулъ на Вику, она даже сконфузилась и опустила глаза.

— А что грѣхъ и что не грѣхъ — разобраться не могу, — докончилъ онъ. — И какъ жить, поэтому, тоже не знаю.

— Но вѣдь въ Евангеліи написано... и Церковь учитъ... — сказала Вика очень серьезно и почти робко.

— Учитъ... Вотъ я и рѣшилъ было, что все—грѣхъ. И солнце, и жизнь въ міру, съ людьми, а въ монастырѣ спасеніе. Пожилъ— вижу, не то. Душа не вполнѣ принимаетъ. То есть плоть-то усмиренная, мертвый я;— а умственныя и душевныя сомнѣнія большія. Да что я вамъ? — вдругъ опомнился онъ.--Вы, вотъ, объ Евангеліи... А вы сами-то, вѣрите? Вѣдь не вѣрите?

И опять поглядѣлъ на нее строго. Вика молчала. Не нашлась. Не знала, вѣритъ или не вѣритъ. Никто ни когда не спрашивалъ ее объ этомъ. Сама не думала раньше. А сказать первое попавшееся,—ему,—какъ-то было нельзя.

— Вы, можетъ, и убійства разныя устраивали,—сказалъ Васюта еще суровѣе. Очень это было неожиданно.

Вика вся вспыхнула.

— Неправда! Неправда! Не говорите о томъ, чего не понимаете! Ничего я не устраивала! И не могу! Это совсѣмъ не то! И людей не осуждайте, ничего не зная, не понимая! Они, можетъ, святѣе вашихъ монаховъ! Да и навѣрно святѣе! И они живые, а не мертвые! Вотъ, вы не знаете, какъ жить, а они ученіе христіанское, высокоморальное, въ жизнь проводятъ! И я сама... какъ же можно не вѣрить этому? Какъ тутъ можно сомнѣваться?

Ей теперь казалось искренно, что она всегда вѣрила въ христіанство, и даже въ него только и вѣрила. Только не опредѣляла этого.

Васюта весь сжался и поблѣднѣлъ. Испугался окончательно. Оба одинаково не понимали другъ друга—и обоимъ было не хорошо.

— Извините меня, пожалуйста,—сказала Вика, опомнившись.

Виноватъ былъ онъ, а не она, но очень ужъ у Васюты лицо отъ страха измѣнилось,

и Викѣ опять стало его мучительно жаль. Васюта махнулъ рукой.

— Нѣтъ, не умѣю я разговаривать. Куда мнѣ. Простите, Бога ради. Я пойду, мнѣ пора.

Вскочилъ, ушелъ, почти убѣжалъ. А Вика осталась въ недоумѣніи, жалости и досадѣ. Думала о томъ, во что она вѣритъ, во что нѣтъ.

За ней Тася пришелъ,— чай пить. Вика вдругъ спросила его:

— Тася, ты любишь службу въ церкви, предпраздничную?

Тася вдругъ покраснѣлъ и засіялъ:

— Ужасно люблю. Въ середу будетъ. Архіерейская.

— А будешь самъ архіереемъ?

— Я? Зачѣмъ мнѣ? Я просто люблю, когда служатъ. Какъ хорошо, какъ хорошо, Вика!

IV

Они пошли въ среду.

Въ саду темно, церковь огнями горитъ. Народу, богомольцевъ, со вчерашняго дня еще кучи привалило въ монастырь.

Вика съ Тасей рано пошли, успѣли

впередъ пробраться. Вика пошла изъ любопытства. Какъ-то все вмѣстѣ у нея не вязалось. Сама не знала, зачѣмъ пошла.

Вспомнила, что была въ церкви и въ Петербургѣ. Въ соборѣ на панихидѣ. Но точно и не была тогда. А вотъ дѣвочкой, здѣсь же въ монастырѣ, — вотъ это она ярко вспомнила. Только не вспомнила, что думалось тогда. Кажется то же, что и теперь. Правда, теперь она знаетъ, что это просто культъ, форма извѣстной религіи и больше ничего. Да не въ томъ дѣло. Культъ, такъ культъ. Но она тутъ дѣвочкой была. И своимъ, роднымъ, корневымъ на нее пахнуло. А мысли тутъ всѣ мимо.

Теплая, пахучая, восковая духота. Волны сизыя кадильнаго дыма. Волны набѣгающія томительнаго пѣнія. Огни — и золото, мерцающее въ огнѣ. И медленныя, торжественныя движенія людей, стариковъ, одѣтыхъ въ золото.

У Таси горящее лицо, нездѣшніе глаза. Но онъ слѣдитъ за одной точкой. Онъ ждетъ. Вика сразу не узнала Васюту, когда онъ вышелъ слѣва на середину церкви, за архіереемъ и священниками, въ бѣлой блестящей діаконской ризѣ, съ высокимъ

двусвѣщникомъ въ рукахъ. Онъ казался ей выросшимъ, удивительнымъ, свѣтлымъ и далекимъ. Тасѣ тоже, вѣроятно, онъ казался такимъ, только онъ его сразу узналъ, потому что такимъ именно и любилъ, и ждалъ его съ самаго начала. Это была великая и святая Тасина тайна. Ему казалось, что всѣ счастливы, какъ онъ, потому что каждый здѣсь любитъ и ждетъ кого-нибудь, одного, ему одному извѣстнаго, съ такой же сладкой жутью и блаженствомъ, и такимъ же этотъ одинъ дѣлается для него здѣсь, въ церкви, — таинственно-свѣтлымъ и святымъ. А тайна въ томъ, что это выше человѣка, и еще въ томъ, что никто не знаетъ, кто кого любитъ. Тася полюбилъ Васюту именно такимъ, здѣсь, и когда онъ приходилъ къ нимъ простой, въ подрясникѣ,—на немъ все равно лежали здѣшніе лучи. Тася все равно зналъ, какой онъ настоящій.

Поютъ, поютъ,—это прославляютъ торжество любви каждаго, благодарятъ Бога за даръ такого неслыханнаго блаженства. Кто любитъ владыку? Тася, можетъ быть, любилъ бы его, еслибъ ужъ не любилъ Васюту. У владыки такое прекрасное лицо,

строгое и святое, точно у Бога-Отца. Тася и его конечно, любитъ, ужасно любитъ, но ужъ потому, что любитъ Васюту сперва, съ томительнымъ и святымъ блаженствомъ. А кого любитъ владыка? Можетъ быть тоже Васюту? Пусть, пусть! Пусть бы и Вика любила Васюту.

Молодой иподіаконъ чуть перевелъ глаза и поглядѣлъ въ ихъ сторону. Но скользящимъ, едва видящимъ взглядомъ. Сквозь сизыя облака опять лицо его показалось Викѣ удивительнымъ, не мужскимъ и не женскимъ. Ангельскимъ, сказалъ бы Тася твердо. Викѣ это не пришло въ голову.

„Слава Тебѣ, Показавшему намъ свѣтъ!“

Тася всталъ на колѣни, крестился, кланялся и шепталъ: слава, слава!

Вика не кланялась, только—по вдругъ вынырнувшей изъ прошлаго привычкѣ—крестилась. Ничего не шептала—но и не думала ни о чемъ. Ей было хорошо и странно. Голова немного болѣла и кружилась. Устала, но не хотѣлось уходить. Такъ же, какъ иногда съ обрыва. отъ рѣки.

Она за Тасей подошла къ аналою, гдѣ ей сдѣлали крестъ на лбу душистымъ и теплымъ масломъ. Поцѣловала тяжелое зо-

лотое Евангеліе. И точно это было другое какое-то Евангеліе, а не та высоко-гуманная человѣческая книга, вѣру въ которую она недавно отстаивала. Ихъ было два, но ей казалось въ эту минуту, что она вѣритъ, и всегда вѣрила,—въ оба.

V

Они странно встрѣтились, Вика и Васюта, черезъ два дня послѣ всенощной. Опять на берегу обрыва, въ быстро чернѣющій, душный августовскій вечеръ.

Онъ, Васюта, былъ прежній, робкій и неловкій послушникъ въ черномъ подрясникѣ, мучительно жалкій и безпомощный— и вдругъ строгій и взыскательный. Но онъ уже былъ и тѣмъ легкимъ юношей среди огней и дыма, съ двусвѣщникомъ въ рукахъ. Вика по-прежнему не знала, о чемъ съ нимъ говорить, но какъ-будто и не очень надо было говорить. То есть разсуждать. Все такъ сложно, запутано и непонятно, что лучше ужъ быть совсѣмъ по-просту.

— Ночь душная, тополями пахнетъ, — сказалъ Васюта.

— Садитесь со мной. Да, душно... точно

въ церкви за всенощной, только иначе,— сказала Вика и усмѣхнулась.

— А вѣдь хорошо служили?

— Очень хорошо. Послушайте, Васюта. Вотъ вы меня спрашивали, вѣрю ли я въ Бога. Мнѣ кажется, я вѣрю и всегда вѣрила. Только объ этомъ надо говорить... какъ-то съ другой стороны, что ли...

Она затруднилась. Онъ промолчалъ, не понялъ. Она продолжала:

— На время все забыть — а только съ другой стороны смотрѣть... Ну я не знаю, все равно. А въ грѣхъ я не вѣрю,—прибавила она неожиданно.

Васюта взволнованно и тихо кивнулъ головой.

— Вотъ и я тоже. То есть не вообще въ грѣхъ, человѣко-убійство, напримѣръ... А какъ считается, повсюду у насъ... До чего доходятъ! Вѣдь на небо голубое посмотрѣть — и грѣхъ. Нѣтъ, это не такъ. Все Божье. И люди Божьи. Господня земля и что наполняетъ ее.

Вика едва различала въ душныхъ, черныхъ сумеркахъ узкое лицо послушника, овѣянное слабо вьющимися волосами. Оно казалось ей нѣжнымъ, строгимъ и прекраснымъ

— Да, все хорошо,—сказала она.

Онъ повторилъ, просто:

— Все хорошо. Очень.

Они были какъ дѣти, ничего не знающіе, все забывшіе, равные въ этомъ незнаніи. Только чувствовали, что „все хорошо“.

— Можно мнѣ поцѣловать васъ?—спросила Вика и даже не удивилась этимъ своимъ словамъ, хотя и не ожидала ихъ.—Мнѣ хочется ужасно. Мнѣ кажется, что я васъ люблю.

Онъ тоже какъ будто не удивился. Съ готовностью повернулся къ ней.

— Да. Поцѣлуйте. И я васъ поцѣлую, если можно. И я васъ люблю. Я только говорить не привыкъ, и боялся. Но я давно думаю, что это—не грѣхъ, а хорошо, нужно, свято.

Они торопливо шептались, хотя кругомъ было пустынно, темно и тихо. Даже кузнечики молчали въ короткой августовской травѣ, даже съ рѣки, снизу, не слышалось шелеста воды.

Вика обняла худенькія плечи юноши и щекой коснулась его лица. Потомъ они поцѣловались, оба вмѣстѣ, неловко и ра-

достно соединивъ губы. Потомъ, все молча, еще разъ поцѣловались, и еще.

Давно забытая, но знакомая сладкая жуть облила Вику. Она, было, испугалась чего-то, но испугъ тотчасъ же прошелъ, ей было хорошо. И грустно. И ему тоже, вѣроятно, потому что онъ сказалъ:

— Мнѣ плакать хочется. Но такъ это радостно. Спасибо. Меня никто не цѣловалъ. И я никого.

Вика шепнула:

— Молчи. А то мнѣ будетъ страшно. Я вѣдь сама ничего не понимаю.

Онъ покорно умолкъ, только нашелъ робко ея руку и поцѣловалъ. Она не отняла руки. Такъ они просидѣли, обнявшись, долго, потомъ еще разъ, медленно, нѣжно и жарко поцѣловались и разошлись.

VI

Мысли, серьезное дѣло, отвѣтственность — это съ одной стороны, — а рѣка, звѣзды, захолустная тишь, огни всенощной, золотое Евангеліе и Васюта на берегу обрыва—это все съ другой стороны. И тутъ, съ этой другой стороны, у Вики уже

не было никакихъ размышленій, она даже не пыталась думать, даже не знала, гдѣ она-то, сама Вика, на этой или на той сторонѣ? И гдѣ жизнь? Можетъ быть и здѣсь и тамъ по половинкѣ. Значитъ, собственно нигдѣ. Ну, не все ли равно. Только бы обѣ были. И даже какъ-то спокойнѣе, что онѣ разорваны.

Не то въ затменіи, не то въ облачномъ полуснѣ жила Вика. Вѣроятно, она думала, что и Васюта живетъ такъ же. Они по прежнему ни о чемъ не могли путно разговаривать, и Викѣ не хотѣлось. Видѣлись въ церкви и дома. По вечерамъ, темнымъ, душнымъ и звѣзднымъ, сходились на краю обрыва, и цѣловались, и Вика говорила ему „люблю“, а когда онъ разъ робко спросилъ ее, любила ли она еще кого-нибудь, она съ увѣренностью отвѣчала, что нѣтъ, и что не могла бы любить никого, кромѣ него.

— Значитъ, на всю жизнь?—обрадованно сказалъ онъ.

— Ну да, конечно, на всю жизнь.

Онъ умолкъ, долго, серьезно, молчалъ. Потомъ вдругъ сказалъ:

— И я тоже, на всю жизнь одну. Я говорилъ, что у меня характеръ нерѣши-

тельный. Это неправда. И вы въ меня новую силу влили. Вы вся--точно источникъ жизни для меня. Вотъ вы увидите...

Она вдругъ испугалась. Но не знала, чего. Разспрашивать его не хотѣлось. Лучше такъ сидѣть. Звѣзды тихія, снизу водой пахнетъ, и онъ, милый, странный, робкій и строгій, — близко. Чувствовать его нѣжную и близкую теплоту. И еще чего-то ждать, вѣчно на что-то надѣяться, что̀, — придетъ или не придетъ,--все равно счастье.

Онъ поцѣловалъ ее на прощанье какъ-то особенно, можетъ быть даже слишкомъ крѣпко и властно... Но Вика пришла домой въ томъ же полуснѣ, надѣясь на завтра.

Завтра минуло. Шелъ дождь, Вика не была у рѣки. Что за бѣда. Будетъ еще день. Но на слѣдующій день за обѣдомъ мать неожиданно объявила новость: Васюта уѣхалъ!

— Въ Петербургъ, будто-бы, поѣхалъ Подумайте! Вотъ чудеса! Даже не простился! Да что это только будетъ!

На крыльцѣ Тася подкараулилъ сестру и сунулъ ей въ руку бумажку.

— Отъ него,—шепнулъ онъ, и уши вспыхнули. — Я провожалъ... Вернется скоро...

Вика съ удивленіемъ развернула бумажку.

„Милая, дорогая, неоцѣненная, единственная вы моя! Вѣрю свято тому, что вы сказали: на всю жизнь. Уѣзжаю, чтобы скорѣйшимъ образомъ вернуться. Чувствую въ себѣ полетъ силъ и жизненной энергіи. Цѣлую васъ, дорогая, несчетно разъ. До скораго свиданья. Васюта“.

Ничего не поняла. Васюта ли писалъ? О чемъ онъ? Не хотѣлось размышлять. Вернется скоро—на этомъ успокоилась. Вернется—а тамъ ужъ все будетъ хорошо, какъ нужно.

Пошли дни за днями. Погода испортилась. Холодно, дожди. И деревья монастырскія стали облетать. Ночей, душныхъ и звѣздныхъ, больше не было. Вика сидѣла дома, въ маленькой комнаткѣ съ кисейными занавѣсками. Сначала такъ сидѣла, все еще въ полуснѣ и затменіи, точно въ облакѣ дыма кадильнаго. Не читала. А потомъ начало сволакиваться, измѣняться. То-есть не ушло ничто, но рядомъ и другое стало подыматься. Прежнее, дневное, рабочее, нудное — но трезвое. Ей надо ѣхать. Не то, что хочется, или необходимо, но тупо

тянетъ, нужда какая-то. Потому что, если не ѣхать, то что же?

И она почти невольно стала собираться. Списалась кой съ кѣмъ. Родители приняли это съ грустью, но безъ удивленія. Отрѣзанный ломоть.

Но сдѣлалось нехорошо. Безпокойство вставало. Ночи прошли, опять день, вѣчный, однообразный. Не мучила совѣсть, потому что ночи--правда, и любовь эта ея къ Васютѣ, свѣтлому, робкому и строгому—правда. Но если правда—зачѣмъ же уходить отъ нея, ради чего покидать? А если есть и другое, другой монастырь,--„другая сторона", какъ она себѣ говорила,—то теперь ихъ разрывъ и раздѣленіе были съ каждымъ днемъ ей все мучительнѣе, все недоумѣннѣе.

Потомъ стала придумывать выходъ.

— Это вѣдь не одна физіологія, моя любовь, а любовь. И вѣдь не романтизмъ же сантиментальный. Это надо какъ-нибудь въ трезвую жизнь ввести. Я пока совсѣмъ не знаю его — узнаю. Найду его въ Петербургѣ. Тамъ все выяснится, ближе сойдемся, поговоримъ. Надо трезво разсуждать.

Забыла, что сама не хотѣла говорить

съ нимъ, все смутно боялась чего-то, вовсе не разсуждала.

Такъ мѣсяцъ прошелъ, и полтора.

VII

Пахнетъ геранью и кухней въ маленькомъ зальцѣ, за окнами черно, деревья и дождь шумятъ, Тася что-то стругаетъ тихонько за столомъ, самоваръ потухъ. Вика разсѣянно перелистываетъ книжку. Она рѣшила ѣхать черезъ два дня. Сегодня ей хорошо, весело, чуть-чуть грустно, все кажется милымъ. Рада, что Васюта не вернулся сюда, она найдетъ его въ Петербургѣ. Любитъ его, помнитъ его, близкаго, милаго, свѣтлаго.

Вика знаетъ,—догадывается,—что Тася тоже „влюбленъ" въ Васюту, и это ей нравится. Теперь Викѣ не кажется гадкимъ слово „влюбленъ". Это хорошо, свѣтло, близко. Тутъ живое, тутъ не вся жизнь, но цѣлая половина.

Впрочемъ—не опредѣленія у нея умственныя, не выводы психологическіе, а такъ чувствуется. Пока только чувствуется — и легко, и вѣришь, что все выяснится, а нач-

нетъ Вика, при ея непривычкѣ, надъ этимъ думать — мучительный, перепутанный во всѣхъ концахъ, узелъ.

Такъ они сидѣли, осеннимъ вечеромъ; и случилось неожиданное.

Кто-то вошелъ на крыльцо. Стукнула дверь. Въ передней возгласы и разговоры. Тася насторожился. Черезъ двѣ-три минуты — почти вбѣжала мать, взволнованная.

— Нѣтъ, вы глядите, глядите, бѣглецъ-то нашъ!

За ней стоялъ какой-то молодой человѣкъ съ маленькими усиками, коротко остриженный, въ новенькомъ буроватомъ кургузомъ пиджачкѣ, съ зеленымъ галстукомъ. Виновато, но и торжествующе улыбался.

— Нѣтъ, каковъ, каковъ!—сыпала мать, упоенная отъ непривычности къ событіямъ.—Что разсказываетъ-то. Оглянуться не успѣли—а онъ ужъ преподаватель петербургскій! Да можетъ, говоритъ, и въ священники пойду, профессоромъ буду! Вотъ тебѣ и послушникъ! Живо оборудовалъ! То-то отецъ-то Геннадій, должно-быть, радуется!

Вика едва сообразила, что это Васюта. Потому что ни слѣда Васюты не было. Даже странно, что можетъ человѣкъ вдругъ

такъ измѣниться. Передъ Викой стоялъ молодой семинаристъ довольно пріятной наружности, не особенно ловкій, одѣтый во все дешевенькое и новенькое, не безъ претензіи и,—это главное,—очень довольный собою. Онъ и говорить сталъ иначе—гораздо больше, громче и увѣреннѣе.

Тася молча прослушалъ его разсказъ о томъ, какъ онъ получилъ мѣсто, какъ ѣздилъ, — потомъ всталъ и ушелъ куда-то. Вика не ушла, но тоже молчала и глядѣла въ странномъ недоумѣніи.

Долго онъ сидѣлъ, и все говорилъ. Мать вышла. Только что она вышла — Василій Геннадіевичъ какъ-то выпрямился, подвинулъ свой стулъ къ Викѣ и сказалъ:

— Вѣдь я все для васъ, дорогая моя! Я жизнь черезъ васъ понялъ. Энергію вы въ меня новую вдохнули. Я руки вашей просить пріѣхалъ. Что я былъ—мертвый человѣкъ! И давно ли? А вы любовью своей меня преобразили. Тяжелыя, мучительныя сомнѣнія мои разсѣяли. Я мальчишка былъ, дитя,—а тутъ взрослымъ мужчиной себя почувствовалъ. Теперь ужъ не разстанемся!

И онъ еще придвинулся къ ней, взялъ

за руку съ неуловимымъ, вѣроятно инстинктивнымъ, правомъ будущаго мужа, хотѣлъ, кажется, обнять и поцѣловать ее. Потянулся.

Вика вскочила въ смертельномъ ужасѣ. Какая-то чернота наплыла на нее, густая, и она точно тонула въ ней. Чернота голову накрывала. Кто это? Не Васюта, — конечно, не онъ! Но даже и не студентъ Леонтьевъ (хотя общее съ Леонтьевымъ мелькнуло что-то), а человѣкъ со всѣхъ сторонъ, и съ этой и съ той, далекій ей, ненужный, совсѣмъ чужой. Да, это студентъ Леонтьевъ, только и дневной рабочей жизнью съ ней не связанный.

— Нѣтъ, нѣтъ,—бормочетъ Вика растерянно, отстраняя тянущіяся за ней руки молодого человѣка. — Извините... — Вы не поняли.—Я не могу... Это недоразумѣніе...

И вдругъ закричала:

— Вы права, наконецъ, не имѣете... Уйдите, пожалуйста...

Онъ искренно изумленъ. Ничего не понимаетъ. И Вика ничего не понимаетъ. Васюты нѣтъ. Былъ ли Васюта, овражный, звѣздный, со свѣтильниками,—или это все только глупо снилось?

Что-то робкое, прежнее, глянуло на минуту изъ него.

— Я уйду, уйду... Вы разстроены сегодня... Я, можетъ, неожиданно все очень... Я завтра утречкомъ приду...

И ушелъ, неловко, задомъ пятясь къ дверямъ, смѣшной въ своемъ новенькомъ кургузомъ пиджачкѣ.

Вика слышала, какъ хлопнула дверь. Пошла, медленно, въ свою комнатку, рядомъ съ Тасиной, — крошечной каморкой.

И вдругъ услыхала странные звуки. Точно кто-то глухо лаялъ. Это плакалъ Тася, уткнувшись въ подушку. Когда Вика вошла къ нему со свѣчей — онъ поднялся, угрюмо сѣлъ на постели и зло поглядѣлъ на сестру.

— Чего ты?—сказала она.

— Чего, чего? Почемъ я знаю?

Опять поглядѣлъ на нее. Видно было, что онъ дѣйствительно не знаетъ.

— А ты-то чего? Ты-то?—закричалъ онъ вдругъ злобно, указывая на нее пальцемъ. Вика, было, не поняла,—но потомъ вдругъ замѣтила, что она тоже плачетъ. Это было удивительно, она и не помнитъ, когда плакала.

— Я... не знаю...—растерянно и уже откровенно сквозь слезы сказала она.

Мальчикъ съ рыданьемъ и злорадствомъ крикнулъ:

— Да! И сама тоже! А еще образованная, большая, петербургская! Ну, и уйди! Ну, и пусть!

И опять уткнулся въ подушку.

Но Вика не ушла, сѣла на постель, рядомъ, обняла Тасю сзади и, прижавшись къ его черному, вспотѣвшему мальчишескому затылку, стала плакать, тихонько вздыхая.

Оба плакали, не зная о чемъ, а если-бъ знали, то, можетъ быть, слезы были бы еще солонѣе и тяжеле. Знали смутно, что плакали о Васютѣ, настоящемъ, котораго можно было любить,—и котораго по настоящему—никогда не было.

905

Двое — одинъ

I

Исключили

Вертѣлся, вертѣлся—однако исключили изъ гимназіи.

И такъ, ни изъ-за чего исключили. И гимназія у нихъ частная, мирная, все „богатики“ больше, и демонстрацій никакихъ особенныхъ не поднималось, разъ единственный на седьмой классъ нашло что-то (въ воздухѣ ужъ, должно быть) — потянулись „митингъ“ устраивать, пѣли, орали, потомъ задерзили—ну, пятнадцать человѣкъ сразу и вылетѣло. Ужъ очень директоръ напугался.

Владя самъ удивленъ, что пѣлъ и дерзилъ, и теперь выключенъ, какъ демонстрантъ. Дико, что изъ восьмого класса никого не выключили, а вѣдь, если правду

говорить—зачинщики-то они. Кременчуговъ, напримѣръ, на этомъ ихъ, семиклассниковъ, митингѣ вступительную рѣчь говорилъ. Владя помнитъ, что бѣсновался и апплодировалъ, и тутъ-то и нашла на него полоса до конца дерзить и пѣть, однако, о чемъ собственно была рѣчь Кременчугова—онъ не помнитъ, да и мало интересуется.

Кременчуговъ остался, экзамены теперь держитъ выпускные,—выкрутился чудомъ какимъ-то, а Владю исключили. Ну, да наплевать. Владѣ даже нравится, что Кременчуговъ такъ ловко выкрутился. Онъ далеко пойдетъ. Чего ему изъ гимназіи исключаться передъ выпускомъ? Его, можетъ, не въ карцеръ, а въ самую крѣпость посадятъ. Ему пока беречь себя нужно. А Владѣ и то ладно. Владя сознаетъ, что у него нѣтъ никакого мужества, что онъ слабъ, безхарактеренъ и безпомощенъ. Рѣшительно—декадентъ.

Генеральша довольнехонька, что Владю исключили. Хоть и частная гимназія, а всетаки добра нечего было ждать. Теперь безъ разговоровъ въ Правовѣдѣніе. Революція пошла, скажите, пожалуйста! Генеральша ничему не удивляется, но ничего и не

боится, слишкомъ ясно видитъ, что это блажь, которая рано или поздно уляжется, и все пойдетъ, какъ должно, какъ шло. Нечего обращать вниманіе. Надо о своемъ будущемъ думать. Владю съ самаго начала слѣдовало отдать въ Правовѣдѣніе; это дядюшка Иванъ Ѳедоровичъ, покойникъ, тогда смутилъ. А Вѣру въ институтъ, не оставлять дома съ учителями... Впрочемъ, Вѣра не испортилась. Славная дѣвочка. И красивая будетъ. Вѣра и теперь красивая, статная, здоровая. Владя, въ свои семнадцать лѣтъ, цыпленокъ передъ нею. Да это отъ гимназіи. Слава Богу, выключили! Теперь съ осени же въ Правовѣдѣніе.

А пока — пусть одумается, отдохнетъ. Генеральша сама не можетъ всѣмъ домомъ съ апрѣля перебираться въ деревню, а Владю отправила. Еслибъ это былъ другой мальчикъ, дѣйствительно какой-нибудь изъ нынѣшнихъ, а деревня у нихъ далекая, гдѣ, говорятъ, „аграріи" какіе то появились,—не отправила-бы, подумала-бы. Но Владя мальчикъ нѣжный, художественный (его склонность къ литературѣ новѣйшей и искусствамъ генеральша благосклонно поощряетъ), надежный мальчикъ. Деревня-же ихъ —

просто усадьба старая, въ трехъ часахъ отъ Петербурга, земли—паркъ, лѣсъ да болота, сторожъ - управляющій человѣкъ вѣрный, мужики кругомъ тихіе. Генеральша любитъ свою „дачу“ и вѣритъ въ нее.

Владя ужасно доволенъ. Въ два дня собрался.

— Что тамъ дѣлать-то будешь? — съ усмѣшкой спросила Вѣра.

Владя посмотрѣлъ на нее, и, такъ какъ они росли, точно склеенные, всегда вмѣстѣ, и не могли расклеиться, даже когда начинали жестоко ссориться,—то онъ, едва взглянувъ, понялъ, что Вѣра ему завидуетъ.

— Мнѣ необходимо одиночество въ природѣ, — сказалъ Владя грустно и немного торжественно.—Хочу обдумать кое-что. Да и успокоиться.

Вѣра опять усмѣхнулась.

— Очень ты взволнованъ, тоже. Эхъ, чортъ! Вѣдь, будь я даже не подростокъ, а взрослая дѣвица, вѣдь и то бы мать не пустила меня одну въ Медвѣдкино! Досадища! Да ладно. Ты безъ меня, пай-дитя, все около дома будешь вертѣться. Въ Калинкинъ лѣсъ, и то побоишься одинъ сходить. Я пріѣду, тогда набродимся.

Владя хотѣлъ было разсердиться, но онъ былъ покоренъ и нѣженъ, и, въ сущности, самъ любилъ гулять съ сестрой. Она не всегда вела себя такимъ дикимъ сорванцомъ. У нихъ часто шли безконечные разговоры. Владя ничего не скрывалъ отъ сестры, шелъ къ ней со всѣмъ рѣшительно, и вообще не представлялъ себя безъ нея. Привычка.

II

Домъ

На ночь глядя, пріѣхалъ въ Медвѣдкино.

Да какая ночь, — ужъ бѣлыя зародились, бѣлыя, зеленовато-сумеречныя.

Домъ Медвѣдкинскій старый-престарый, и Владѣ такой знакомый, что каждое пятнышко на обояхъ онъ помнитъ, и гдѣ что когда было — помнитъ, особенно въ „дѣтскихъ", наверху, — а вотъ, каждую весну домъ дѣлается, когда пріѣзжаютъ, новымъ и таинственнымъ, особенно прекраснымъ, потому что онъ особенно милъ.

Теперь же, когда Владя первый разъ пріѣхалъ одинъ, какъ совершенно взрослый и самостоятельный, да еще послѣ „потрясеній", — домъ Медвѣдкинскій глянулъ на

него невѣроятно значительно. И жутко и хорошо.

Жена сторожа Максима, черная, быстрая, поджарая баба, съ высоко подоткнутыми юбками, а сама густо обвязанная платкомъ,— принесла Владѣ молоко въ теплопахнущей крынкѣ. Поставила на столъ, на свѣжую, со слежавшимися складками, камчатную скатерть. Обѣщала самоварчикъ принести. Владя хотѣлъ было сказать, что не надо,— да ужъ все равно.

Въ полусумеречной столовой пусто, свѣжо и такъ странно-тихо. Можетъ быть, не совсѣмъ тихо, но сразу другіе шумы, чѣмъ тѣ, петербургскіе, и потому кажется тихо. Въ садъ, въ самую зелень, еще слабую и не густую, но всю трепетно-живую, окно открыто. Оттуда пахнетъ своимъ: — вечернимъ, весеннимъ туманомъ ручьевымъ, и молодой, только что растущей, осокой. А въ столовой, въ домѣ, проспавшемъ зиму и просыпающемся — домашней сыростью стараго дерева пахнетъ, темнымъ лакомъ мебели, вымытымъ чистымъ бѣльемъ, и еще чѣмъ-то знакомымъ, стариннымъ и усыпляюще-упоительнымъ, чему, однако, нѣтъ названія.

Катерина принесла и самоваръ, большой, желтый, злобный, съ сильнымъ бѣлымъ паромъ, который, шипя, полѣзъ прямо въ потолокъ. И хлѣбъ черный принесла, пахучій, много.

Владя самъ рѣшилъ, что онъ съ собой изъ города никого не возьметъ, никого ему не нужно, ѣсть будетъ самое простое, что Катерина состряпаетъ.

Говорить ему не хотѣлось, но Катерина не уходила, а остановилась въ выжидательной позѣ.

— Ну, что, какъ у васъ?—сказалъ Владя.

— Да слава Богу, баринъ. Что̀ у насъ,— ничего. Все, слава Богу, тихо. Слышно, нынѣ вездѣ народъ дуритъ, а у насъ пока ничего. Смирно. Живемъ. Ея превосходительство скоро прибыть намѣреваются?

— Скоро... А вотъ пока я...

— Что жъ. Дѣло молодое, — сказала Катерина глупо. И, помолчавъ, продолжала:

— А вамъ завтрева, коли что, Маврушка сапоги почиститъ. Все равно такъ шатается.

— Какая Маврушка?

— Да Максимова племянника, изъ Нырковъ. Гоститъ она у насъ. Мать прислала, чѣмъ, говоритъ, до свадьбы зря баловаться.

Она за богатѣющаго мужика просватана вдовый онъ, мельница своя. Онъ-то хочетъ до Петровокъ свадьбу справить, ну да тамъ еще не наладили что-то, а ее пока къ намъ. Пусть поживетъ, ничего. Съ ребятами тоже помогаетъ.

— Тетенька-а! А теть! — вдругъ закричалъ кто-то на дворѣ визгливо-молодо.

Владя вздрогнулъ. И точно листья у окна, молодые и нѣжные, тоже вздрогнули.

— Ишь оретъ, невѣжа,—заворчала Катерина, повернулась торопливо и вышла.

Опять все человѣческое умолкло, только паръ шуршалъ, слабѣя, въ саду тишина копошилась и звенѣла, въ домѣ, въ молочномъ мракѣ пустыхъ и свѣжихъ комнатъ, потрескивала, оживая, мебель.

Владя вышелъ въ большую гостиную. Тамъ еще молочнѣе и затѣненнѣе, потому что бѣлыя занавѣси спущены. Какое все странное и милое, когда никого нѣтъ, а за окнами ночь и весна! Владѣ кажется, что его тоже нѣтъ, а есть они,—старый домъ, ночь и весна, — и они одни другъ съ другомъ. Отъ этого Владѣ пріятно и глупо захотѣлось плакать, и онъ, чтобы развлечься, пошелъ по всѣмъ комнатамъ. Поднялся и

наверхъ. Вотъ здѣсь, направо, они спали съ Вѣрой вмѣстѣ, когда были совсѣмъ маленькіе.

А на площадкѣ они играли вмѣстѣ въ куклы. Владя помнитъ, какъ разъ тутъ Вѣра нечаянно разбила одну, общую ихъ любимицу. Владя заплакалъ горько, а Вѣра сѣла на приступочку и злобно задумалась. Потомъ вдругъ вскочила, и стала бить другія кукольныя головы о перила лѣстницы. Владя кинулся къ ней съ ревомъ, но Вѣра все била и кричала:

— Не хочу же ихъ, коли бьются! Не хочу любить куклы, когда онѣ разбиваются! На̀ же вотъ, на̀ же вотъ!

Владя тогда изъ себя вышелъ, и они ужасно подрались. Владя даже одолѣлъ, и Вѣра стала ревѣть громче его самого. Въ концѣ ихъ обоихъ одинаково наказали, но куколъ какъ-то оба съ тѣхъ поръ возненавидѣли.

Въ иное вмѣстѣ играли.

Вскорѣ потомъ Владя перешелъ въ другую комнату, а дѣтская осталась Вѣрина. Эта другая — съ балкончикомъ въ садъ. Тутъ Владя разъ, давно, крыжовникомъ

объѣлся—цѣлый день его наверхъ таскалъ. А въ прошломъ году уже старался на этомъ балкончикѣ декадентское стихотвореніе сочинять—только ничего не вышло. Спать захотѣлось. Въ Петербургѣ лучше сочиняется гораздо. А здѣсь не то.

У приготовленной постели стояла свѣчка, но Владя ея не зажегъ. Мутно-бѣлый, ласковый, уже совсѣмъ ночной свѣтъ полосой шелъ изъ открытой двери.

„Къ ручью, что-ли, сходить?"—подумалъ Владя, присаживаясь на постель.

И вмѣсто того, чтобы итти къ ручью—онъ лѣниво, не подымаясь, сталъ раздѣваться, кое-какъ стащилъ съ себя все, подлѣзъ подъ одѣяло, какъ маленькій свернулся калачикомъ и сейчасъ же заснулъ.

Даже дверь не притворилъ, и оттуда наползали въ комнату весенніе сырые шорохи, жадные и нѣжные шопоты влажной земли раскрывающейся, травъ, ночью растущихъ,—и все что-то шевелилось кругомъ, внизу, дышало и пахло, вздыхало и жило, подымалось, темное, теплое и ласковое.

III

Оно

Шлялся съ утра.

Дѣлать совсѣмъ нечего, а не скучно. О гимназіи не думалъ, о Правовѣдѣніи не думалъ, о Вѣрѣ, своей сестрѣ, думалъ, а потомъ немного о декадентствѣ, о кружкахъ литературныхъ;—онъ и въ настоящихъ бывалъ, не только въ своемъ, гимназическомъ.

Думалъ, какъ это странно – Вѣра. У него ни одного товарища не было ближе Вѣры. И не то, чтобъ онъ любилъ ее очень. А такъ, точно наполовину онъ самъ. Чего, въ немъ нѣтъ, а въ ней есть, ему самому и не надо, какъ будто все равно есть уже. Если важное что-нибудь — они непремѣнно согласны. Передъ ней солгать, или утаить про себя—думать нечего, въ голову не приходитъ. И ей, кажется, тоже.

Она Медвѣдкино любитъ, и стихи любитъ. Она и пишетъ сама, не хуже его, иногда лучше. Они вмѣстѣ читаютъ, и точно оба написали.

Что Владя знаетъ—то и Вѣра. О любви, или, какъ они чаще выражались—о „полѣ“, много у нихъ было серьезныхъ разгово-

ровъ. Владя — дѣвственникъ, и гордится этимъ. И въ гимназіи не скрываетъ, да и много изъ нихъ такихъ. Грязные разговоры и развратное старое молодечество съ проститутками — противно и не въ модѣ.

Вѣра тоже находитъ, что это противно, но не знаетъ, ка̀къ съ дѣвственностью. Не любитъ романтизма, и стихотвореніе одно Владино о возвышенной любви забраковала. Впрочемъ, оно было неискреннее, потому что Владя никогда не былъ влюбленъ. Это его даже огорчало, но и Вѣрѣ онъ тутъ ничего не могъ объяснить.

Женщины, нѣжныя и томныя, слабыя и тонкія—ему очень нравились. Вотъ Лидочка Горнъ, напримѣръ. Но ужасъ въ томъ, что онъ сейчасъ же начиналъ относиться къ нимъ, какъ къ себѣ самому, нѣжно жалѣть ихъ вмѣстѣ съ собою за безпомощность. Дружилъ страшно—но вѣдь это не то!

Веселыя, бойкія, сильныя и задорныя—тоже чрезвычайно нравились, нѣкоторыя. Но эти были ему какъ Вѣра. Необходимыя— и совершенно извѣстныя, точно собственная рука. И тоже дружилъ, еще больше, — но вѣдь и это не то!

Такъ и не былъ влюбленъ. Вѣра гово-

рила, что тоже не была, но что она тутъ чего-то не понимаетъ, а потомъ непремѣнно будетъ влюбляться, только замужъ не выйдетъ. И Владю жалѣла, и очень ему совѣтовала постараться. Онъ старше, на его мѣстѣ она бы не такъ...

Оттого, что солнце грѣло рѣзкій, еще не лѣтній, воздухъ, оттого, что трава была яркая-преяркая, съ желтыми, улыбающимися цвѣтами, оттого, что прямыя, какъ дѣвушки, березки за ручьемъ трепетали, только что одѣтыя, — Владя пересталъ думать опредѣленно даже о Вѣрѣ, даже о себѣ, а только дышалъ, на небо глядѣлъ, и ему было не скучно.

Весь паркъ исходилъ.

— Въ лѣсъ сегодня не пойду. Сыро еще, должно быть.

И просидѣлъ вечеръ на кругломъ балконѣ, откуда рѣчку видно, лѣсъ вдалекѣ, за который солнце спускается.

Главное то, что ни одинъ день не былъ похожъ на другой. Все двигалось на глазахъ, мѣнялось чудесно. Каждое утро березы шумѣли другими шумами, потому что дѣлались гуще. Каждую ночь коростель ручьевой кричалъ иначе, веселѣе и настой-

чивѣе. Кукушка закуковала совсѣмъ близко вчера; а когда Владя шелъ по полю, снявъ шляпу, вѣтеръ ласкалъ его голову сегодня горячѣе, былъ пахучѣе и нѣжнѣе.

Отъ вечера до утра все мѣнялось. Темныя твердыя почки сиреневыя прямо лѣзли теперь въ окно столовой вмѣстѣ съ разросшимися вѣтвями. А около старой бани, у рѣчки, у мостика, гдѣ бѣлье полощутъ,— какъ все измѣнилось! По водѣ ряска ужъ залегла и незабудки на болотцѣ заголубѣли.

Владя мальчикомъ любилъ это мѣсто, около бани. Потомъ забылъ, а теперь почему-то опять ходитъ, сидитъ на банной приступкѣ или на травѣ, на солнышкѣ, лежитъ.

Вчера на мостикѣ Маврушка бѣлье полоскала. Смѣялась. Она — славная дѣвка, сапоги ему утромъ чиститъ, иногда, вмѣсто Катерины, самоваръ подаетъ. Веселая, а болтать безъ конца не любитъ, какъ Катерина.

Владя теперь, въ почти жаркій, томный полдень, лежа въ травѣ подъ разомлѣвшими елями (сейчасъ за баней и паркъ-лѣсъ начинается) — слышитъ, какъ кто-то поетъ вдали, на усадебномъ дворѣ. Это Маврушка

поетъ, -- вѣрно, стираетъ что-нибудь въ корытѣ и поетъ.

Не визгливо, хорошо, а издали еще лучше, и шорохамъ лѣснымъ и травнымъ не мѣшаетъ.

Владѣ не скучно, но какъ-то не то жарко, не то безпокойно сегодня съ самаго утра, съ самой ночи. И даже не сегодня только, а ужъ давно, кажется. Онъ весь, точно ель эта, разомлѣвшая на солнцѣ; пахучая, темная, а на каждой вѣточкѣ у нея блѣдный новенькій приростокъ. И не движется она, а кажется, что вся насторожилась и тихонько-тихонько дышетъ.

Владя перевернулся на животъ, и близко передъ нимъ трава. Ну, ужъ вотъ эта-то прямо шевелится, и короткая и длинная. Можетъ — растетъ, а можетъ тамъ, у самой земли, отъ которой такъ густо, влажно и жарко пахнетъ ея тѣломъ земнымъ, бродятъ муравьи, жуки и кузнечики, дышатъ, и стебли шевелятъ.

Волна какая-то одна ходитъ и колеблется, сіяющая, душистая и тяжелая; не поймешь—отъ солнца ли она къ землѣ идетъ, отъ земли ли она къ солнцу поднимается.

Владѣ стало совсѣмъ томно и пріятно-

тошно, и пріятно плакать захотѣлось о себѣ,—такъ было хорошо, и чувствовалось, что дѣлать что-то надо, а дѣлать было нечего.

Подумалось, конечно: вотъ бы влюбленнымъ теперь быть! Но попробовалъ вспомнить любовные стихи—и не понравилось. Постарался припомнить барышню, изъ тѣхъ, какія ему нравились, — ничего не вышло. Онъ перевернулся на спину и сталъ глядѣть вверхъ, безъ всякихъ мыслей словами.

И почему-то настойчиво и глупо, и совсѣмъ некстати, ему сталъ видѣться ихъ классъ гимназическій, во время митинга, и Кременчуговъ изъ восьмого класса на каѳедрѣ, и говоритъ рѣчь. О чемъ онъ говоритъ—Владя не знаетъ; онъ только видитъ смуглое лицо съ пятнами молодого румянца, черныя брови надъ блестящими глазами и замѣчаетъ, какъ губы двигаются, особенно верхняя, надъ которой чуть темнѣютъ усы.

„Вотъ этотъ ничего не побоится! — мелькаетъ отрывочно у Влади въ головѣ.— Онъ отъ директора, какъ отъ стоячаго, ушелъ. Большое плаваніе такому кораблю. Всѣ у насъ такъ думаютъ. Сильный-то какой, милый какой!"

И Владя не завидовалъ Кременчугову, а лишь восхищался имъ, радовался ему, какъ никогда; томился имъ. Только удивительно было, съ чего вдругъ теперь, въ травѣ, въ полдень, Кременчуговъ вспомнился, когда ужъ давно не вспоминался.

„А Вѣрѣ Кременчуговъ не такъ нравится",—подумалось было ему—и вдругъ все прервалось.

Владя вскочилъ, растерянный, взъерошенный, и сѣлъ. Передъ нимъ, совсѣмъ надъ нимъ, стояла Маврушка и хохотала.

— Чего ты?—спросилъ онъ недовольно и непріязненно.

Онъ не слышалъ шаговъ ея босыхъ ногъ по травѣ. На плечѣ у нея была кучка мокраго бѣлья, красное ситцевое платье было высоко подоткнуто. Владя близко-близко видѣлъ ея смуглыя, крѣпкія и стройныя икры, чуть отливающія золотомъ на солнцѣ. Снизу вверхъ глядѣлъ на ея смѣющееся широкое лицо. Глаза, каріе, съузились, рѣсницы сблизились; красивыя брови разлетомъ едва видны ему снизу. Очень смѣшная она сама снизу.

— Чего ты стоишь и хохочешь?—спросилъ онъ, тоже начиная улыбаться.

— Да ничего. Очень ужъ вы все валяетесь. Глаза закрыли, а не спите.

Она говорила не дичась, очень просто.

— А ты на рѣчку?

— На рѣчку, да не волкъ, — не убѣжитъ. Я нынче что было—все перестирала. А вамъ не скучно эдакъ, одному да одному, да по травѣ валяться?

— Посиди со мной, — сказалъ вдругъ Владя неожиданно и даже потянулъ ее внизъ за юбку.

Что это онъ фамильярничаетъ? Это еще что? Она еще вообразитъ гадость какую-нибудь. Или удивится.

Но Маврушка нисколько не удивилась, а тотчасъ же хлопнулась на траву рядомъ съ Владей.

На лицѣ у нея заиграли и задрожали тѣни солнечныя, и лицо сдѣлалось не такое смѣшное, но за то красивѣе. Круглая щека, крѣпкая и розовая, съ золотистымъ пушнымъ налетомъ, совсѣмъ почти касалась Владинаго плеча.

— А вотъ я въ нашемъ городу у доктора въ нянькахъ цѣльную зиму жила,— сказала Маврушка.—Такъ тамъ тоже ихній гимназистъ прiѣзжалъ. Хорошенькiй тоже,

вотъ какъ вы. А только и хитрый-же! Ужъ одинъ, бывало, не сидитъ, нѣтъ!..

Владя густо покраснѣлъ и сказалъ строгимъ голосомъ, чтобъ перемѣнить разговоръ:

— А ты замужъ идешь, Мавруша?

— Замужъ. Небось, пойдешь, коли эдакій сватается. Мельница у него своя. Да чортъ его, старика красножожаго! Развѣ я его люблю, что-ли? Тутъ то мнѣ и покрасоваться, напослѣдяхъ. Старикъ что? Вонючій и вонючій. А вы, вонъ, баринъ, какой молоденькій, да словно дитенокъ прячетесь, одинъ да одинъ по лѣсу, небось—скучно... Поиграть ужъ нельзя съ вами...

Говоря, какъ-то незамѣтно, и цѣпко, и грубовато, обхватила его, а потомъ вдругъ взяла да и поцѣловала въ щеку, около уха.

Владя оцѣпенѣлъ. Куда-же это повернулось? Что онъ чувствуетъ? И что ему дѣлать? Вмѣстѣ—отъ робости, отъ вѣжливости и отъ полу-любопытства и полу-нѣги, невольной, лѣсной, горячей и безпокойной--онъ совершенно оцѣпенѣлъ.

А Мавруша шептала ему прямо въ ухо:

— Ой, баринъ, да и какой-же вы молоденькій! Я сразу, какъ увидѣла васъ, такъ

вы мнѣ и понравились. А мнѣ теперь-то и покрасоваться. Ну, его, старика моего, чтобъ ему на томъ свѣтѣ...

И она поцѣловала Владю на этотъ разъ прямо въ губы, и такъ крѣпко, что онъ не удержался, сидя, и упалъ навзничь на траву. Все передъ нимъ завертѣлось, глаза закрылъ на минуту,—зеленые разводы заплясали передъ глазами, а Маврушка опять его поцѣловала, и онъ ее, кажется, тоже. Пахло отъ нея солнцемъ, человѣкомъ и мокрымъ бѣльемъ, и захотѣлось схватить ее и, не то сначала задушить и потомъ отшвырнуть, не то прямо отшвырнуть подальше.

Но не тронулъ, а поднялся, опять сѣлъ, съ усиліемъ взглянулъ на нее и съ красными, какъ макъ, ушами, пробормоталъ:

— Какъ тебѣ не стыдно?

А Маврушка опять зашептала, не выпуская его:

— Чего стыдно? Чего стыдно, глупенькій? Ты лучше приходи сюда, къ банѣ, вечеромъ, какъ спать полягутъ. Что одному-то? Придешь, кудрявенькій? Придешь?

— Приду,—сказалъ Владя неожиданно для себя, и не своимъ, а немного чужимъ голосомъ.

Маврушка радостно вскочила, подхватила кучку своего бѣлья и на прощанье хлопнула Владю по плечу.

— Ну, такъ-то ладно!

Но вдругъ присмирѣла, сразу, и опять наклонилась къ нему, и тихонько сказала:

— Ты не подумай, я не какая-нибудь. Очень жалко мнѣ тебя стало. Вижу, моледенькій такой, хорошенькій самъ... А мнѣ послѣдніе денечки...

Закраснѣлась, застыдилась, чуть не слезы на глазахъ.

— А то и не приходи. Не надо.

— Нѣтъ, я приду, — настойчиво повторилъ Владя.

Она еще постояла, ничего не говоря, и пошла прочь, шурша по травѣ босыми ногами.

IV

Она

Такая растерянность захватила Владю, что онъ и не помнитъ, что дѣлалъ цѣлый день.

Когда вечеромъ Катерина самоваръ подала и что-то болтала (что—не вслушался)— Владя уже рѣшилъ, что надо итти непре-

мѣнно. Пытался разсуждать трезво и просто.

„Ну, что-жъ, это полъ. Это сама жизнь. Это природа. Нельзя же вѣчно отвертываться отъ жизни. Чтобы возвыситься надъ нею—надо ее знать. Иначе все книжная отвлеченность“...

А потомъ думалъ:

„Наконецъ, я мужчина. У меня несомнѣнно влеченіе къ этой дѣвушкѣ, какъ и у нея ко мнѣ. Это такъ просто. Вѣра бы непремѣнно пошла. Вѣра проще и смѣлѣе меня. Вотъ въ чемъ штука“...

И онъ туманно и несвязно продумалъ весь вечеръ о себѣ и о Вѣрѣ. О Маврушкѣ, о самой, совсѣмъ какъ-то не думалось.

Прилегъ на постель, одѣтый, не зажигая свѣчи, и забылся безпокойно и прозрачно. Но сонъ успѣлъ присниться: опять гимназія съ чего-то, митингъ этотъ злосчастный, и Кременчуговъ рѣчь говоритъ. И смотритъ прямо на него, на Владю,—и вдругъ смѣется, смѣется, смѣется... точно Маврушка.

Фу, ты, наказанье! Вскочилъ, какъ очумѣлый.. Сколько спалъ? Хорошо, если проспалъ! Не виноватъ ни въ чемъ.

Ночь бѣлоглазая. Сырая, насквозь душистая и теплая совсѣмъ. Коростель скри-

питъ настойчиво, точно издѣвается: „спитъ-спитъ-спитъ-спитъ!“

Часы открылъ у балконной двери: только безъ десяти одиннадцать. Все-таки поздно, можетъ быть?

Сердце стучитъ, даже надоѣло. И стыдно, что онъ такъ волнуется. Вѣдь просто.

Поплелся внизъ по лѣстницѣ, въ темнотѣ. Вспомнилъ, что Катерина на ночь двери запираетъ. „Еще забудете. А часъ неровенъ“.

Вспомнилъ — но удаль вдругъ нашла. „Въ столовой изъ окошка выскочу“.

И выскочилъ. Сирень переломалъ, но и того не испугался. „Э, все равно. А нѣтъ ея, тѣмъ лучше. Прогуляюсь—и конецъ“.

Онъ даже тихонько насвистывать что-то сталъ, приближаясь къ банѣ и не видя тамъ никого. Но пересталъ, осѣкся, потому что тотчасъ же замѣтилъ Маврушку. И она его замѣтила, метнулась изъ мутнаго свѣта въ тѣнь, за крылечко.

Зашелъ за крылечко. Маврушка была тамъ, закутанная въ теткинъ платокъ. Владя не зналъ, что же теперь, сказать ей что-нибудь? Или что? Но она, безъ смѣха, какъ днемъ, а какъ-то непріятно-робко обняла его,

— Пришли, миленькій баринъ. А я ужъ думала...

Потомъ они, обнявшись, сѣли на сырую траву, въ уголокъ. Хоть тепло было, но сыро, банно.

А потомъ, черезъ нѣкоторое время, безъ дальнѣйшихъ разговоровъ, случилось все, что могло съ ними случиться.

— Пусти! Пусти меня! — плачущимъ шопотомъ говорилъ Владя.

Но Маврушка глупо не пускала его и твердила:

— Охъ, да и какой-же ты молоденькій! Ну, совсѣмъ дитенокъ! Да постой... постой...

Наконецъ, высвободился понемногу, отползъ на четвереренькахъ, потомъ всталъ, съ трудомъ. Въ бѣлесоватой, насквозь прозрачной ночи, все было видно. И какъ онъ ползъ, и ея развалившійся платокъ, закомканная юбка, и широкое лицо Маврушкино съ распущенными губами. И все-таки красивое, серьезное. Только Владя этого не видѣлъ, не глядѣлъ ей въ лицо.

Ему вдругъ такое страшное почудилось, что онъ и повторить себѣ не смѣлъ, а оно все-таки стояло, оно одно.

Маврушка медленно поднялась, оправилась, и пошла къ нему.

Вотъ подошла. Точно не видитъ, что онъ уходитъ.

— Прощай, теперь прощай, — сказалъ Владя торопливо.

— А завтра придешь, глупенькій? Придешь? Я ждать буду. Я ужъ такъ тебя люблю, такъ люблю...

И насѣдаетъ. Владя неловко, холодными руками слегка отстранилъ ее, упершись въ грудь, и пошелъ къ дому. Шагалъ торопливо, не оборачиваясь. Съ трудомъ, но не замѣчая, что трудно, влѣзъ въ то же окно столовой и потащился по лѣстницѣ наверхъ. Недаромъ во снѣ Кременчуговъ смотрѣлъ на него и смѣялся. Недаромъ.

Да какой чортъ Кременчуговъ! Что Кременчуговъ? Все дѣло въ Вѣрѣ... Вотъ оно, самое ужасное. Вѣра... Она, Вѣра, Вѣра, сестра... Какой, однако, вздоръ! Нѣтъ, спать, спать, это первое, а потомъ ужъ можно будетъ...

Владя сорвалъ съ себя все и бросился въ постель. Заплакалъ о себѣ, о своемъ недоумѣніи, и, кажется, не о себѣ только, а точно обо всѣхъ и обо всемъ. О томъ,

что все, сплошь, до такой степени непонятно, а онъ такъ безпомощенъ... И заснулъ, тяжело, тупо и безпокойно.

А коростель кричалъ близко, у ручья: „спитъ-спитъ-спитъ-спитъ“...

V

Пошли въ революцію

Еще первые дни была какая-то муть и надежда, въ самой мути надежда, а потомъ, къ концу недѣли, стало такъ худо, что Владя не выдержалъ и написалъ домой письмо, что заболѣлъ.

Ему и въ самомъ дѣлѣ казалось, что онъ заболѣваетъ или сходитъ съ ума.

Сначала ходилъ днями по лѣсамъ, за пятнадцать верстъ ходилъ, по дождю, возвращался поздно, дрожа, пробирался къ дому (какъ бы не встрѣтить Маврушку), измученный ложился въ постель—и всетаки почти не спалъ. А сны—точно галлюцинаціи.

Потомъ пересталъ вовсе выходить, сидѣлъ наверху, отупѣлый, разозленный, напуганный. Уѣхать—силъ не было. Да и

мелькомъ это въ голову приходило. Но Вѣру необходимо-же видѣть. И написалъ письмо.

Обезпокоенная генеральша рѣшилась тотчасъ-же отправиться къ сыну, привезти его въ городъ, если нужно. Она не была тяжела на подъемъ, а мать нѣжная.

Пріѣхали, съ Вѣрой, конечно, и съ одной только Агафьей Ивановной. Вѣдь не совсѣмъ-же еще.

Владя встрѣтилъ ихъ на крыльцѣ.

— Ну, что съ тобой? Это еще что? Простудился, что-ли? Или блажишь? Хорошо, что я все равно хотѣла сюда съ Вѣрой до воскресенья съѣздить.

— Мнѣ немножко лучше, maman, — сказалъ Владя неловко.—Извините.

— Да, видъ неважный... Не берегся, конечно; теперь сырость... Я салипирину привезла. Двѣ облатки сейчасъ же извольте принять!

Вѣра, статная, красивая, плечистая шестнадцатилѣтняя дѣвочка, съ круглыми крѣпкими щеками и карими улыбающимися глазами, снимала шляпку и въ зеркало взглянула на брата.

Онъ понялъ, что она страшно торопится

остаться съ нимъ вдвоемъ, но думаетъ, что сейчасъ нельзя.

— Тебѣ надо сегодня раньше лечь, напиться теплаго и пропотѣть,—рѣшила генеральша.

Вѣра подхватила:

— Да, да, я сама ему снесу чай наверхъ. Вѣдь, ты у насъ наверху, Владя? Ложись, я приду.

Она и Медвѣдкина, своего милаго, точно не замѣчаетъ, по крайней мѣрѣ, не говоритъ ничего, торопится.

Пришла; чашку у постели Владиной наспѣхъ поставила, сѣла на постель и смотритъ на Владю, блѣдненькаго, несчастнаго, укутаннаго до подбородка одѣяломъ. Свѣча горитъ на ночномъ столикѣ, а дверь на балконъ заперта. У Вѣры одна щека краснѣе другой отъ нетерпѣнія, и темные завитки на вискахъ, короткіе, выбились изъ туго заплетенной косы.

— Ну, скорѣе. Какая еще трагедія тутъ у тебя? Что?

— А то, что я тебя ненавижу, — проговорилъ Владя медленно, не спуская съ нея глазъ.

Вѣра чуть повела бровями.

— Хорошо, ладно... Я тебя тоже. А теперь разсказывай по порядку, все, какъ было.

— Только свѣчку потуши и дверь на балконъ открой. Будетъ достаточно свѣтло. А такъ—мнѣ стыдно.

— Скажите, пожалуйста! Стыдно ему! Да, впрочемъ, сдѣлай одолженіе, лучше будетъ.

— Мнѣ не тебя, а вообще стыдно, — сказалъ Владя, пока она тушила свѣчу и открывала дверь.

Внизу, въ столовой, еще гремѣли посудой и кто-то разговаривалъ. Но садъ вечерній, молочно-бѣлый, опять сырой и теплый, былъ такъ шуменъ своими шопотливыми шумами, шорохами, стрекотаньями, ручьевыми стонами, что человѣческое внизу совсѣмъ заглушалось его тишиной.

— Помнишь, мы разъ тоже съ тобой рано-рано пріѣхали?—сказала Вѣра, отходя отъ балкона.—И всю ночь въ этой комнатѣ сидѣли: рѣшили восхода солнца дождаться,— и взяли да заснули?

И вдругъ прервала сама себя:

— Ну, да что это! А ты разсказывай скорѣй! По порядку, смотри...

И усѣлась съ ногами къ нему на постель, внимательная, серьезная. Въ полутьмѣ не сводила съ него блестящихъ глазъ.

Тогда Владя, немного слабымъ голосомъ, но безъ остановки, разсказалъ ей про Маврушку. Разсказалъ съ мельчайшими подробностями, все что самъ помнилъ. И что потомъ на четвереинькахъ отползъ, и что ночью бѣлой все видно, хоть онъ и глаза закрывалъ.

Вѣра утвердительно качала головой. Иногда прерывала его короткимъ вопросомъ, и тогда онъ вспоминалъ забытую подробность.

— И вотъ, Вѣра, понимаешь, тутъ-то и случилось такое, чего я никакъ не могъ предвидѣть... Можетъ, глупая мысль, idée fixe, но это даже не мысль...

Онъ приподнялся на постели, сѣлъ...

— Постой, — остановила его Вѣра. — Такъ, все-таки, сначала ты опредѣленное влеченіе къ ней чувствовалъ? Хотѣлось тебѣ самому обнять ее? Ну, и что жъ?

— Я не знаю. Кажется, вообще чувствовалъ... Тутъ деревня, весна, ну сны разные... А потомъ она подвернулась и прямо начала. Я самъ первый ни разу ее не обнялъ. А

когда она—такъ и я, конечно... И, наконецъ, я думалъ—вѣдь это просто... Ну, какъ природа проста... Сто разъ мы съ тобой говорили...

— Да, — задумчиво протянула Вѣра.— Такъ, значитъ, ты самъ ничего? Все она? Или она только вызывала тебя?

У Влади сдѣлалось страдальческое лицо.

— Ахъ, Вѣра, ты главное пойми! Да, ты, вѣдь, понимаешь... У меня какъ бы влеченіе, влеченіе,—а тутъ и впуталась эта... мысль, что ли, и я ужъ не зналъ, что̀ дѣлаю, чего не дѣлаю. Понимаешь, ты—и ты.

— Вмѣсто Маврушки—я?

— Ну, да, ты, вотъ какъ ты, Вѣра, моя сестра, извѣстная мнѣ переизвѣстная, точно моя же собственная нога или рука. И вдругъ, будто не съ Маврушкой, а съ тобой я это все дѣлаю, совершенно... не только не нужное, а какое то противоестественное, а потому отвратительное до такой степени, что ты сама пойми. И чѣмъ дальше, тѣмъ хуже... Забыть не могу!..

— Да... — сказала опять Вѣра задумчиво.—Я, кажется, представляю... А Маврушка похожа на меня?

— Нѣтъ, не похожа. Хотя, вотъ, руки

сверху, плечи... Двигаешься ты иногда, какъ она... И сложеніе, вообще, такое же широкое... Женское что-ли... И такъ вотъ, сейчасъ, въ темнотѣ, когда лицо бѣлѣется...

— И я тебѣ противна?

— Ужасно,—признался Владя.—Мнѣ все чудится, что это ты же со мной тогда... Я знаю, что это сумасшествіе, и пройдетъ. Но что же это будетъ? Я и самъ себѣ, какъ представлю себя съ тобой, дѣлаюсь такъ противенъ, даже дрожь. И, главное, я думаю, что же это? Положимъ, я влюблюсь въ кого-нибудь... Я не влюблялся, но допустимъ... Пока ничего—ничего, а если что-нибудь—вдругъ опять мнѣ покажется, что я какъ съ собой, какъ съ тобой, какъ съ сестрой? Вѣдь я ее убить могу... Или себя. Это ты все виновата,—прибавилъ онъ вдругъ горестно и злобно,—и поглядѣлъ ненавистнически прямо ей въ лицо.

Но Вѣра не отвѣчала. Крѣпко задумалась. Вѣтеръ прошумѣлъ подъ балкономъ и стихъ.

— Я выродокъ, недоносокъ, психопатъ,— неожиданно, плачущимъ голосомъ, заговорилъ опять Владя, — Росли, вотъ, вмѣстѣ, какъ склеенные, ты мной вертѣла, сама

обмальчишилась. Мало тебя наказывали? А изъ меня чортъ знаетъ, что сдѣлала,— психопата, неврастеника... Ничѣмъ я не интересуюсь, ни на что неспособенъ... Что мнѣ, на тебѣ что ли жениться? Да провались ты!

Онъ упалъ лицомъ въ подушки и глупо заплакалъ, почти заревѣлъ.

Вѣра подождала, подождала — и тоже замигала глазами. Ее слезы Владины всегда заражали. Но тутъ не заплакала, только брови сжала.

— Владя, знаешь что?

— Что?—спросилъ онъ, не отрывая лица отъ подушки.

— Одѣнься и давай пойдемъ въ садъ? Ты, вѣдь, не простуженъ? Мы потихоньку-потихоньку, изъ окна въ столовой, вылѣземъ и хочешь—на то же мѣсто, къ банѣ, пойдемъ? Тебѣ лучше будетъ, ты увидишь, тамъ совсѣмъ не то. И я тебѣ скажу. Важное-важное. Увидишь.

Она просила его, отрывала отъ подушки, заглядывала въ лицо.

— Ладно. Уйди.

Вѣра отошла на минуту къ балконной двери.

А потомъ они, какъ мыши, соскользнули со знакомой лѣстницы. Вѣра, ловкая въ своей короткой юбкѣ выпрыгнула безъ шума въ сирень, Владя за ней.

— А вдругъ тамъ Маврушка? — вслухъ подумалъ Владя.

Но Вѣра сжала его руку.

— Глупости... Никого нѣтъ. Ты посмотри, какъ хорошо.

Съ рѣчки сегодня подымался туманъ, длинный, длинными языками, бѣлѣе бѣлаго воздуха, весь живой. А подъ туманомъ, внизу, что-то шелестѣло, стрекотало, коростель стоналъ пронзительнымъ шопотомъ, а беззвѣздное небо стояло высоко, неподвижно и холодно.

— Сядемъ въ уголочкѣ, — шепнула Вѣра.—Вѣдь здѣсь оно съ тобой было, да? Видишь, ничего нѣтъ. А я тебѣ важное скажу, ты не огорчайся...

Она шептала, и Владѣ казалось, что такъ и надо.

— Видишь, продолжала Вѣра.—Можетъ быть, я просто глупая дѣвчонка, но мнѣ давно казалось, что, если бъ мы были не два разныхъ человѣка, а одинъ, то все было бы хорошо, а такъ — намъ обоимъ

скверно. Ты думаешь, мнѣ себя довольно безъ тебя? Нисколько. Но ужъ никто невиноватъ, что такъ случилось. Богъ, можетъ быть, виноватъ.

Владя кивнулъ головой.

— Да. Ну, такъ что жъ? Разорваться намъ съ тобой? Я же тебя ненавижу.

— Это ничего, пройдетъ. А разорваться я боюсь. Лучше вотъ что давай. Мы, въ сущности, еще глупые и какъ бы маленькіе, и странные, и многаго тутъ, насчетъ любви особенно, не понимаемъ. Ну, и оставимъ пока. А ты, главное, въ Правовѣдѣніе не ходи, потому что это—дрянь.

— А какъ же быть?

— Мы осенью съ тобой съ такими людьми сойдемся... Я на курсы какъ бы пойду, я готова; и я ужъ рѣшилась. А ты тяни. Не соглашайся на Правовѣдѣніе. Знаешь, я въ эти недѣли у Лизы Ратнеръ со всѣми познакомилась. И студенты бывшіе и Кременчуговъ вашъ.

— Кременчуговъ?

— Ну, да. Онъ такой... Онъ много мнѣ объяснилъ. Что жъ, что мы молоды, это теперь тѣмъ лучше. Тамъ все какъ-нибудь образуется, а мы просто подло живемъ.

Владя какъ-то даже не удивился. Ему показалось, что онъ и самъ давно это все думалъ.

— А мама? Ну, да что-нибудь выйдетъ. Нельзя же этимъ останавливаться.

— Конечно. Я потомъ тебѣ все подробнѣе разскажу. Я только хотѣла, чтобы ты не огорчался изъ-за Маврушки и изъ-за того, что мы выросли такіе склеенные, какъ близнецы, и такое сумасшествіе выходитъ.

— Ну, да,—сказалъ Владя,—я понимаю. Въ той жизни, для всѣхъ, если мы съ тобой и одинъ человѣкъ въ двухъ разныхъ—то ничего. Гадко, когда для себя дѣйствуешь, потому что тогда надо въ одиночку. И ненависть тогда къ тебѣ.

— Значитъ, ты хочешь?

Вѣра смотрѣла на него широкими, дѣтскими, радостными глазами. Ему стало какъ будто легче и веселѣе на мгновенье.

— Я, кажется, самъ думалъ, что такъ нельзя жить,—сказалъ Владя.—Если мы съ тобой несчастные, такъ пусть хоть за что-нибудь пропадемъ вмѣстѣ, а не задаромъ. И Кременчугова, говоришь, видѣла?

— Видѣла, еще бы! А завтра, знаешь?

Завтра мы еще погуляемъ, поговоримъ, а потомъ ты скажи, что хочешь въ городъ, и уѣзжай раньше насъ. Я черезъ день-два пріѣду, и мы еще до лѣта настоящаго кой-кого увидимъ вмѣстѣ.

—Хорошо...—сказалъ Владя нерѣшительно.—А ты здѣсь что же будешь дѣлать?

Вѣра искренно отвѣчала:

— Я эту Маврушку хочу безъ тебя посмотрѣть. Поговорю съ ней и посмотрю. Мнѣ интересно. Какая она? Какъ я, или какъ ты?

Тѣлесно-розовая, теплая полоса протянулась за Никишкинымъ лугомъ. Ночные шумы примолкли, взвизгнула было птица въ вѣтвяхъ парка—и затаилась.

Далеко, въ деревнѣ, пѣтухи пѣли, не переставая, но едва слышно. Круче и выше заклубился рѣчной туманъ. Вставали изъ-за камышей высокіе, прозрачные люди, и вытягивались, качая тающими, исчезающими головами.

Братъ съ сестрой сидѣли молча, притихнувъ, точно испугавшіеся, потерянныя дѣти; ни въ чемъ невиноватыя, а все-таки потерянныя. Небо, еще зеленое вверху, смотрѣло на нихъ чуждо и холодно; какъ

будто удивлялось, зачѣмъ они сидятъ подъ нимъ, и зачѣмъ ихъ двое, когда они двое— одинъ, и кому они нужны, двое: ему или землѣ? Или ни ему ни землѣ?

906

Сокатилъ

Собираются.

Метелица мететъ, на улицѣ зги не видать. Въ калитку идутъ Василь-Силантьичеву. На крыльцѣ снѣгу натоптали, и въ сѣняхъ натоптали. Идутъ и въ одиночку, и парами, и тройками.

Ночь темная, метельная, да хоть бы и не такъ — опаситься да хорониться много нечего: вся Ефремовка — свои, вѣрные. А село Крутое — шесть верстъ. Да и тамъ своихъ много. Семенъ Дорофеичъ самъ въ Крутомъ проживаетъ. Въ Ефремовку ѣздитъ, потому что у Василь-Силантьича изба очень приспособленная.

Горница та́кая есть, пристроена, во дворъ вся, и безъ оконъ.

Тамъ и собираются.

Дарьюшка пришла съ мужемъ, Иванъ Ѳедотычемъ. Во дворѣ съ другими повстрѣчались. Идутъ всѣ, закутанные, съ узелками.

Въ передней избѣ у Василья Силантьича ужъ былъ народъ. Рядомъ съ хозяиномъ, впереди, — сидѣлъ самъ батюшка, Семенъ Дорофеичъ, рослый, не старый, — да и не молодой, борода вся сѣрая.

Кто приходилъ — низко кланялись, здоровались.

Сѣла и Дарьюшка на лавку, въ рядъ, гдѣ бабы сидѣли. Темный платокъ пониже подвинула.

Молчали. Да и дверь все хлопала: все новые братцы и сестрицы приходили, кланялись, здоровались и садились поодаль.

Потомъ дверь перестала хлопать. Иванушка, сынъ Василья Силантьича, вышелъ на дворъ,—посмотрѣть, нейдетъ-ли еще кто, и замкнуть ворота.

Съ нимъ вошелъ одинъ запоздалый. А больше ужъ никто не приходилъ,—всѣ.

— Всѣ ли? — еще спросилъ Семенъ Дорофеичъ.

А потомъ всталъ, за нимъ мужчины встали, придерживая узелки, и пошли черезъ сѣни въ дальнюю дверь.

Тамъ—другія сѣни, теплыя, и боковушка, гдѣ одѣвались.

Всѣмъ порядки были привычны, всякъ

зналъ дѣло, а потому не случилось ни суеты ни неустройства. Сестры остались смирно сидѣть, и, когда мужчины одѣлись,—пошли тоже въ боковушку одѣваться.

Разговоровъ пустыхъ не было. Торопились, молчали.

Дарьюшка проворно скинула съ себя все: чулки, башмаки, скинула и рубашку, — и привычно и ловко набросила на себя другую, вынутую изъ узелка, съ широкими и длинными, до самыхъ пятъ, рукавами. Поверхъ еще завязала бѣлую юбку. Въ узелкѣ все было: и платокъ, и косынка. Старая Анфисушка не скинула чулокъ, потому что у нея ноги были больныя; а прочія сестры всѣ босикомъ.

Свѣчки позажигали одна у другой и пошли молча черезъ сѣни въ радѣльную.

Лица у всѣхъ, и у старыхъ, и у молодыхъ, теперь были не такія строгія и скучныя, какъ въ избѣ подъ темными платками. Отъ зажженныхъ свѣчей, вѣрно,—засвѣтились, потеплѣли.

А въ радѣльной было еще теплѣе и свѣтлѣе. Свѣтлѣе, чѣмъ церковь въ Христовскую заутреню. По бревенчатымъ стѣнамъ безъ оконъ горѣли пуки свѣчей, и сверху, съ по-

толка, — „люстра“ со свѣчами. На полу— холстъ чистый крѣпко натянутъ.

Братья сидѣли на лавочкахъ, по стѣнамъ. Семенъ Дорофеичъ — на лавкѣ, въ углу, у стола, перекрещеннаго длинными платками, на которыхъ лежалъ мѣдный крестъ.

Дарьюшка знала, что не во многихъ корабляхъ есть такія устроенныя, обширныя радѣльныя, — и радовалась. Она привычно и крѣпко вѣрила, что ходитъ въ истинѣ и любила радѣнья. Сама, впрочемъ, хоть и кружилась много, и въ одиночку, и въ схватку знала, и круговыя и стѣночныя у нихъ случались, и веселье и умиленіе утомленное, бывало, сходили въ нее,—но сама никогда еще въ духѣ не хаживала и не пророчествовала. „По недостоинству моему“, говаривала она привычно. Въ Дарьюшкѣ, какъ она ни кружилась и ни пьянѣла, все оставалось что-то будто неподвижное, невсколыхнутое, туповатое.

У нея и лицо было такое: ясное, лѣнивое, круглое, какъ яичко, не по лѣтамъ моложавое. А ей ужъ шелъ двадцат восьмой годъ.

Когда „празднички удавались“, когда много радѣли, много пророчествовали, пья-

нѣли отъ святаго „пивушка“,—случалось и „грѣхъ истреблять грѣхомъ“; Дарьюшка со всѣми, изнеможенная, падала на полъ и, когда гасли свѣчи,—принимала жениха, „какого духъ укажетъ“. Принимала просто, просто вѣруя, что такъ надо. Но и этотъ „святой грѣхъ“ никогда еще не растапливалъ въ конецъ ея неподвижнаго спокойствія; а ужъ про грѣхъ не святой, плотскій, мірской, — говорить нечего. Дарьюшка совсѣмъ дѣвченкой вышла за пожилого Ивана Ѳедотыча. Онъ тогда только присматривался къ истинной вѣрѣ. Ну, самое первое время и жили, какъ всѣ живутъ. Да въ скорости Иванъ Ѳедотычъ позналъ истину и—„женимыйся“—разженился; и Дарьюшка познала; и такъ ей казалось куда лучше! Былъ у Дарьюшки и мірской грѣшокъ тайный: заѣзжій парень въ Крутомъ понравился ей, ну, и завелъ разъ въ перелѣсокъ. Такъ хоть и нравился парень,—а тутъ точно отшибло отъ него,—грѣхъ замучилъ. Въ грѣхѣ Дарьюшка кораблю не каялась, а сама себѣ руки сѣрой жгла; и парень тотъ ей хуже недобраго, хуже врага сталъ противенъ. А къ радѣньямъ она съ той поры еще ближе потянулась.

Увидала Дарьюшка свѣтлую горницу,—

и съ чего-то въ этотъ разъ вспомнила о своемъ мірскомъ грѣхѣ; и стало ей стыдно и страшно. И весело, что давно это было, а здѣсь такъ опять свѣтло и осіянно.

Сталй подходить, въ ноги другъ другу кланяться, цѣловаться.

Сѣли всѣ, съ платомъ на колѣняхъ. Молчатъ... Свѣчи горятъ, потрескиваютъ, за безоконными стѣнами глухо-глухо метель стонетъ, а они, бѣлые, сидятъ, молчатъ, ждутъ, и точно копится что-то въ каждой душѣ.

Всталъ Семенъ Дорофеичъ, кланяется хозяину.

— Ну-кось, благоволите-ка намъ, господинъ хозяинъ, съ государемъ-батюшкой повеселиться, питіемъ небеснымъ усладиться, богомъ-свѣтомъ завладать, на святъ кругѣ его покатать...

Отвѣчаетъ ему Василій Силантьичъ длинной рѣчью, и крестятся всѣ, и вотъ запѣли, вразъ, стройно, медленно-тягуче, гулко въ высокой пустой горницѣ. Запѣли молитву Іисусову:

Дай намъ, Господи,
Къ намъ Іисуса Христа,
Дай намъ Сына Своего,
Господь Богъ, помилуй насъ!

И пошли роспѣвцы, одинъ за другимъ, не прекращаясь. У Дарьюшки былъ хорошій голосъ, и роспѣвцы она почти всѣ знала, любила всегда пѣть. А сегодня еще какъ-то особенно хорошо ей поется. И Варварушка, что съ ней рядомъ, такъ и заливается. Медленно, медленно заунывное пѣніе,—и незамѣтно дѣлается оно скорѣе:

О, любовь, любовь,
Ты сладчайшая,
Твоя силушка величайшая!
Ты виновница всѣхъ спасаемыхъ,
О, любовь, любовь,
Любовь чистая!..

Дарьюшка ничего не представляетъ себѣ, когда поетъ о любви, но на глазахъ у нея уже слезы.

Ты течешь, любовь,
Въ сердце Божіе,
Вопіешь, любовь,
Слушай всѣ меня!

Колеблются свѣчные огоньки, нагрѣвая горницу; теплый, синій дымъ изъ кадильницы застилаетъ глаза. Мѣрно, какъ волны пѣсни, раскачиваются бѣлые люди. И вдругъ, сразу, точно визгъ вырвался, часто-часто:

Богу порадѣйте,
Плотей не жалѣйте,
Мареу не щадите,
Богу послужите...

Выскочила на кругъ... Это — Домнушка, она всегда первая. Завертѣлось бѣлое, закружилось, разлетѣлись бѣлые, длинные рукава, теплымъ вѣтромъ понесло отъ нагнувшихся огней.

Вотъ ужъ не одна Домнушка, вотъ уже четыре крыла рѣютъ, и не четыре, шесть, восемь...

Точно не сама, а горячимъ воздухомъ подхваченная, — кинулась и Дарьюшка въ кругъ. Никогда съ ней такого не бывало. Но и всѣ были точно не сами. Удался очень праздничекъ.

Кому впору—надѣвай,
А не впору—прочь ступай...

Роспѣвцы лились; въ кругу кто-то уже пророчествовалъ. Дарьюшка, задыхающаяся, точно летящая внизъ на своихъ бѣлыхъ парусахъ, говорила, кричала что-то, сама себя не слыша. Потомъ услышала, но будто чужой былъ голосъ:

— Походи съ нами, Христе, сокати съ

небесе, Сударь Духъ Святый... Сокатилъ, сокатилъ! Я, Святый Духъ, вамъ скажу, всю любовь укажу, на путь васъ поставлю, христіанъ прославлю! Во грѣхахъ своихъ кайтеся, мнѣ, Духу Святому, отдавайтеся. Со грѣхами развяжу, всю правду покажу!

Дарьюшку слушали многіе, стѣснившись. Потомъ, когда она снова завертѣлась,—закружились, заплясали всѣ, не переставая пѣть, изнемогая, истаевая, какъ горячій воскъ.

Вспомнимъ апостольско время,
Когда Духъ Святый сокаталъ.
И отъ сильнаго дыханья
Разносился шумный гласъ...

Свистъ шелъ по комнатѣ отъ разлетающихся одеждъ. Одна, другая, третья свѣча потухли. И вдругъ стали гаснуть всѣ, быстро, одна за другой, точно кто-то гасилъ ихъ, точно слишкомъ много стало свѣта и огня въ горницѣ, и онѣ уже были не нужны.

Любовь, любовь...
Всѣ мною живутъ,
Всѣ міры міровъ.
Красотой моей
Полны небеса...

Дарьюшка помнила себя. Помнила, что она, посреди круженья, легко упала, опу-

стилась на полъ, точно птица сѣла на вѣтку. Роспѣвцы еще продолжались, но таяли, замирали. Шорохъ, шопотъ, вздохи шелестѣли подъ ними. Дарьюшку сначала тѣснили, но потомъ, вдругъ,—кто-то одинъ обнялъ ее, крѣпко, властно, какъ никто еще никогда не обнималъ. И она сразу поняла и почувствовала, что это—онъ; ея первый и единственный женихъ, тотъ, кого Духъ ей указалъ. И все растопилось въ ней, какъ отъ солнечнаго луча, и она отдалась жениху, ни о чемъ не думая и ничего не зная,—этому тайному, вѣчному, навѣки единственному суженому, по Господнему указанію...

Когда начали опять зажигать свѣчи,— всѣ уже стояли, сидѣли или прохаживались по комнатѣ.

Еще радѣли долго, до свѣту.

Семенъ Дорофеичъ пророчествовалъ. Пѣли. Потомъ трапезовали.

Потомъ поликовались, попрощались. Переодѣлись быстро, молча, пошатываясь и улыбаясь. Разошлись не какъ пришли, а больше въ одиночку, точно не узнавая другъ друга.

Метель стихла, только сугробы намела. Слабый разсвѣтъ голубилъ снѣга.

Дарьюшка пришла въ избу, оглядѣлась въ ней, какъ въ чужой, потомъ, все улыбаясь чему-то, пошла къ кровати, прилегла и тотчасъ же заснула мертвымъ сномъ. Не слышала, какъ и мужъ пришелъ и тоже легъ.

На утро не изъ всякаго дома пошли въ Крутое къ обѣдни, хоть и большой былъ праздникъ. Не у всѣхъ силъ хватило подняться. Пошли, кто пободрѣе. А въ Крутомъ и не удивились: снѣжно очень, такіе сугробы намело—дороги не видать.

Собирались послѣ обѣдни, молитвы пѣли, читали. Утишились еще всѣ; у сестрицъ подъ платками точно вовсе лицъ не стало. Съ Дарьюшкой встрѣчаясь, — какъ будто ниже кланялись. Она въ Духѣ ходила.

И Дарьюшка утишилась вся. Ничего она не думала, а вошла въ себя, глядѣла внутрь, а внутри у нея тихо-тихо все улыбалось.

За метелью стали ясные дни, морозные, хрустяще-звонкіе. Снѣгъ да небо, снѣгъ да небо, и небо отъ снѣга еще свѣтлѣло, бѣлѣло,—а снѣгъ отъ неба весь мерцалъ голубыми огнями.

Пошла Дарьюшка съ ведрами на рѣку, на прорубь. Спустилась въ низокъ, одна... Снѣгъ, да небо, да сіяніе...

Поставила ведра, смотритъ, хоть и смотрѣть нечего. Померещилось ей, что будто неладно что-то. Давно ужъ думается о чемъ-то, и безпокойно.

Не грѣхъ вѣдь, а святость, осіяніе, полнота Духа Святаго облекла ее. Указалъ ей Духъ Святый жениха.

Указалъ... А кого? К т о онъ?

Сама не вѣдая, Дарьюшка ужъ не въ первый день гадала, кто онъ? Всѣхъ она братьевъ знаетъ. Кто жъ былъ? Романушка? Никитушка? Иль, можетъ, батюшка Семенъ Дорофеичъ? Можетъ, и батюшка. Можетъ, и Никитушка. Можетъ, и Романушка. Она не знаетъ и никогда не узнаетъ, а вотъ чуетъ съ жадной тоской, что нельзя ей не знать, не можетъ она не хотѣть знать. Ей все равно, кто бы ни оказался, — хоть Никитушка, хоть Романушка, — но только бы оказался. А оказаться-то ему и нельзя. И каждый день она будетъ встрѣчаться съ духовнымъ супругомъ—и никогда не узнаетъ лица его; и онъ ее не узнаетъ, потому что и онъ не знаетъ,—кто она.

Испугалась Дарьюшка, сѣла у проруби, сидитъ, смотритъ на снѣгъ. Грѣхъ-то, Господи! Иль не грѣхъ? Что такое?

И опять думается, назойливо, жалобно: не Романушка-ли? Можетъ, и Савельюшка... И зачѣмъ ей? Вѣдь никогда не узнать. Можетъ и Савельюшка... Набрала воды, пошла по тропкѣ прочь. Ведра тяжелы, внизъ давятъ; капаетъ и стынетъ длинными сережками вода...

Говорятъ, опять скоро будетъ радѣнье. Опять...

И вдругъ Дарьюшка такъ испугалась, что не снесла ведеръ, поставила ихъ на снѣгъ и сѣла рядомъ. Духъ Святый указалъ ей жениха, истиннаго, единаго, вѣрнаго. Указалъ навсегда. А она, какъ слѣпая, опять будетъ просить Его, Батюшку, опять о томъ же. Воззритъ ли Онъ на недостоинство ея? А если грѣхъ это? Если не сойдетъ Духъ въ сей разъ за слѣпоту ея? И покорится она не ему, жениху, указанному въ истинѣ, а чужому, другому, кто попадется... какъ раньше бывало.

Заплакала Дарьюшка отъ страха. Не можетъ этого больше быть! Грѣхъ, грѣхъ великій! Вотъ онъ, грѣхъ-то смрадный, страшный! Нельзя этого никакъ.

Думала она не словами, а слезами, жалобными, бабьими. И казалось ей, что нѣтъ

помощи и ждать неоткуда. Откуда же? Кто — не узнать, а Духъ указалъ, и надо Духу вѣрной быть. Повѣдать кораблю? Да что? Не умѣетъ она про это.

И есть женихъ,—и нѣтъ его. И невѣста она,—и не знаетъ онъ ее. Духъ сошелъ,— и не вняла, утеряла она, слѣпая.

Какой помощи ждать отъ людей? Да и откуда?

Кругомъ искристо, снѣгъ да небо, небо да снѣгъ.

Опять взялась Дарьюшка за коромысло, потащилась къ дому. Одно знала она, что на радѣнье ни за что не пойдетъ теперь, хоть убей ее, изъ-за страха одного не пойдетъ.

„Отпрошусь у батюшки въ странствіе,— подумала она. — Пуститъ. Многіе странствуютъ. Такъ ина радѣнье не пойду. Пропадать ужъ мнѣ, видно! Все одно—не минуешь. Пропадать, такъ пропадать!“.

Шла и плакала глупая баба; падали капли воды съ ведеръ и стыли; солнце играло въ длинныхъ ледяныхъ сережкахъ. А она шла и, ужъ забывая про свое рѣшенье на счетъ странствій, опять думала, тупо, упорно, безсмысленно, безысходно, все одно и то же:

„Кто? Не Романушка ли? А можетъ, Өедосѣюшка? Иль Никитушка? Не Михайлушка ли?“.

Можетъ быть, и Михайлушка. Есть кто-то, но онъ — никто.

906

Иванъ Ивановичъ и чортъ

Діалогъ I

„...Чаша въ рукѣ Господа, вино кипитъ въ ней, полное смѣшенія. Даже дрожжи ея будутъ выжимать и пить всѣ нечестивые земли".

(Пс. 74, 9)

I

— Ахъ, да это опять вы. Вы, что-ли?— сказалъ Иванъ Ивановичъ, вдругъ уловивъ въ чертахъ незнакомаго человѣка, пришедшаго къ нему „по дѣлу", знакомую съ дѣтства тѣнь лица. Именно тѣнь, а не лицо; или, если это и было лицо, то главное его, отличительное его свойство, по которому Иваномъ Ивановичемъ оно узнавалось, — была странная безличность этого лица. Безликость, ни въ комъ больше не встрѣчающаяся.

— Такъ вы, значитъ? – переспросилъ Иванъ Ивановичъ.

Посѣтитель съежился, улыбнулся одобрительно и кивнулъ головой.

— Ну, конечно, я. А что, вы сердитесь?

— Да нѣтъ, что жъ... А только, знаете, теперь... Я усталъ, измучился, голова идетъ кругомъ...

— Вы не бойтесь. Я васъ не утомлю. Я понимаю. И о разныхъ текущихъ дѣлахъ и событіяхъ не собираюсь съ вами говорить. Вонъ какой у васъ ворохъ газетъ лежитъ, достаточно съ васъ. Философствовать тоже не будемъ—развѣ я не понимаю, что это не ко времени. Тутъ вы потрясены реальностями исторіи, а я полѣзу къ человѣку съ отвлеченностями. Нѣтъ, я просто такъ... Жалко мнѣ васъ стало, да и не былъ давно... Пойду, думаю, къ нему съ отдохновеніемъ, сказочку, что-ли, разскажу, поболтаемъ...

Иванъ Ивановичъ посмотрѣлъ на него зло.

— Да чего, въ сущности, вы ко мнѣ привязались?

— Видите, какъ у васъ нервы разстроены, — сказалъ посѣтитель мягко. Раз-

дражаетесь. Два года я у васъ не былъ, а говорите — привязываюсь. Разговоръ то нашъ послѣдній ужъ помните ли? Я вамъ тогда все съ откровенностью выяснилъ, мы, кажется, поняли другъ друга.

Иванъ Ивановичъ поморщился.

— Ну, поняли... Поймешь васъ. Послѣ все думается — вздоръ какой то, марево; начало сумасшествія... Это все противно.

Посѣтитель тяжело вздохнулъ.

— Очень я виноватъ, что такъ долго не былъ у васъ. Это немножко скучно, что опять все сначала начинать приходится. Какое же сумасшествіе, когда — вѣдь ужъ докладывалъ же я — не къ вамъ одному, а ко всѣмъ здравомыслящимъ людямъ всѣхъ сословій я хожу совершенно такъ же, какъ къ вамъ, накинувъ на себя, для удобнаго проникновенія, подходящую одежду. И присяжныхъ повѣренныхъ, какъ вы, у меня много, и у власти людей стоящихъ, два учителя народныхъ, писатели есть, профессора, доктора, студентовъ куча... Людей, вѣдь, какъ вы знаете, гораздо больше, чѣмъ насъ. Ну и приходится брать каждому изъ насъ по нѣскольку. Устаешь, конечно, но дѣло веселитъ, ежели подборъ по вкусу.

Я всегда, съ самаго начала нашей общей дѣятельности, держался людей именно самыхъ здравомыслящихъ, покойныхъ, трезвыхъ, — что у васъ называется нормальныхъ. По чистой склонности держался. Съ такимъ человѣкомъ и поговорить пріятно. Къ тому же они, по моему глубокому убѣжденію, и есть соль земли. Я, какъ родится такой человѣчекъ, сейчасъ же его въ свои кадры намѣчаю. И ужъ съ дѣтства и знакомство завожу. Помните, какъ я къ вамъ еще съ третьяго класса гимназіи то тѣмъ, то другимъ товарищемъ приходилъ. Постепенно и узнавать меня начали. Многіе, какъ и вы, бунтуются. Вы, говорятъ, противъ здраваго смысла. А потомъ ничего. Ихній же здравый смыслъ подсказываетъ, что я не противъ него, а за него.

— Однако, — въ задумчивости сказалъ Иванъ Ивановичъ, — согласитесь, что это должно иногда тревожить. Вѣдь фактъ вашихъ хожденій и къ другимъ—не провѣренъ. Я о немъ слышу только отъ васъ.

— Не принято это, въ корнѣ не принято у людей—говорить о насъ между собой. Дѣти даже, и тѣ сразу чувствуютъ, что нельзя. Каждый знаетъ, а попробуйте, за-

говорите съ нимъ! Притворится такъ хорошо, что и вы поколеблетесь. Впрочемъ, и не заговорите вы никогда. Увѣряю васъ, не принято. До дна души люди откровенны могутъ быть только съ нами, а не между собой. Мы съ ними откровенны, ну, они это и чувствуютъ и могутъ. Это наша цѣнность.

Иванъ Ивановичъ угрюмо замолкъ. Посѣтитель продолжалъ съ веселостью:

— Право, подумайте: не вѣрить мнѣ, вѣдь, вы не имѣете никакихъ основанiй. Для вашего успокоенiя я очень бы желалъ, чтобы тотъ фактъ, что я хожу не къ одному вамъ, а и ко многимъ людямъ вашей же профессiи (ко всѣмъ ходятъ, не я, такъ другой) — чтобы этотъ фактъ могъ быть доказанъ. Но не принято! Невозможно! Не будете же вы отрицать, что невозможно человѣку открыть свою душу другому до самыхъ послѣднихъ тайниковъ? Даже и хочешь—такъ невозможно! Ну а мы — какъ разъ въ этомъ послѣднемъ тайничкѣ всегда и ютимся.

— И съ каждымъ вы, значитъ, вотъ такъ — одинъ на одинъ? — спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Непремѣнно. То-есть, если по душѣ

разговоръ, безъ намековъ. Общества я отнюдь не избѣгаю, впрочемъ. Но это ужъ другое. Въ семейные дома я хожу съ лицомъ какого-нибудь знакомаго. Выйдемъ чай пить, жена не удивляется. Хозяинъ знаетъ, что я — я, а кому не слѣдуетъ — тотъ не знаетъ. Главное — чтобъ сверхъестественностей никакихъ не было. Это совсѣмъ не въ нашей натурѣ. Мы за простоту и ясность.

— Однако же можетъ выйти qui pro quo... Вдругъ этотъ самый знакомый, въ чьемъ вы лицѣ приходите, самъ туда же пожалуетъ?

— Я радъ, что вы развеселились,—сказалъ посѣтитель, скромно усмѣхнувшись.— Нѣтъ, не пожалуетъ. Мы, знаете... такъ ужъ устраиваемся. Привычка, навыкъ—и мало ли еще средствъ? А навыку всяческому — какъ же не быть? Практика громадная. Вѣдь мы, извините, вѣчные, а вы — временные. Вѣдь съ начала хотя бы моей дѣятельности—сколько вѣковъ прошло. Сколько у меня одного людей было и окончилось. Кабы не запись — и не упомнить. А въ записи у меня много и историческихъ именъ. Изъ періода французской революціи, напримѣръ... Да я вамъ покажу какъ-нибудь,

сами увидите, въ какой вы компаніи. И все самые прекрасные, нормальные, самые здравомыслящіе люди. Что дѣлать. Влеченіе сердца. Я не гонюсь за выскочками. Мишурный блескъ меня не прельщаетъ. Побольше бы такихъ, какъ вы--и дѣло наше въ шляпѣ.

Ивану Ивановичу почудилось что-то обидное въ послѣднихъ словахъ развеселившагося посѣтителя. Иванъ Ивановичъ самъ, въ глубинѣ души, былъ собою скорѣе доволенъ, то-есть очень во многомъ себя одобрялъ, когда смотрѣлъ со стороны. Многое ему даже прямо нравилось. Случалось, приходила и мысль, что побольше бы такихъ, какъ онъ — и гораздо было бы въ мірѣ лучше. А между тѣмъ его что-то кольнуло въ тонѣ собесѣдника, захотѣлось съ нимъ спорить, противорѣчить ему, – не въ этомъ—такъ въ другомъ, подсидѣть его. Словомъ, Иванъ Ивановичъ обидѣлся и раздражился.

Но прежде, чѣмъ онъ успѣлъ открыть ротъ, посѣтитель, уже другимъ, скромно серьезнымъ тономъ, поспѣшилъ прибавить:

— Общеніе съ подобными вамъ людьми— для меня просто необходимость. И я истинно,

повѣрьте, истинно счастливъ, когда могу такого человѣка поддержать, помочь ему...

— Да позвольте! — вдругъ вспылилъ Иванъ Ивановичъ, и даже съ мѣста вскочилъ. Въ волненіи онъ зашагалъ по своему скромному кабинету. Кабинетъ былъ скроменъ, потому что Иванъ Ивановичъ никогда не имѣлъ большой практики, да и не гонялся за ней. Онъ былъ человѣкъ съ глубоко честными убѣжденіями, такими честными, что ихъ многіе даже называли крайними. Въ общественной жизни онъ принималъ дѣятельное участіе, его знали и цѣнили за безкорыстіе, смѣлость и нѣкоторую даже горячность. Вообще было мнѣніе, что на него „можно положиться". Ивану Ивановичу шелъ двадцать девятый годъ, наружность у него была пріятная, онъ казался моложавымъ и все еще смахивалъ на студента. Это послѣднее обстоятельство ему въ себѣ тоже нравилось. И невѣста у него была — курсистка. Давно ужъ была, но оба они, занятые своимъ участіемъ въ дѣлахъ общественныхъ, не торопились со свадьбой.

Къ посѣщеніямъ безликаго гостя Иванъ Ивановичъ какъ-то безотчетно привыкъ.

То-есть мало о нихъ думалъ, забывалъ совершенно, особенно когда странный пріятель долго не показывался. Но каждый разъ, при встрѣчѣ, они спорили, и нѣтъ—нѣтъ, да и почудится Ивану Ивановичу, что тутъ что-то дикое, нелѣпое, непонятное, а потому и противное.

На этотъ разъ бесѣда принимала особенно рѣзкій характеръ: Иванъ Ивановичъ былъ уже взволнованъ, потрясенъ реальнѣйшими событіями времени, да и гостя онъ слишкомъ основательно забылъ. Какъ-то тутъ не до него. Не до этихъ выкрутасовъ.

— Нѣтъ, позвольте!—волновался Иванъ Ивановичъ.—Что вы путаете! Вѣдь вы мнѣ колоссальную чепуху порете, съ начала до конца. Что я вамъ дался! Противорѣчіе на противорѣчіе нагромождаете. И если хотите знать—ровно я ничего не понимаю! Какое такое „ваше дѣло“ — въ шляпѣ? За какимъ дѣломъ вы ко мнѣ таскаетесь? Это первое. Хвалитесь откровенностью и ясностью—объяснитесь, разъ на всегда. Затѣмъ: только что сказали, что избѣгаете „сверхъестественнаго“ и стоите за здравый смыслъ—и тутъ же вплели, что вы — безсмертный

какой-то и гуляли еще во дни французской революціи. Есть въ этомъ хоть капля здраваго смысла? И, наконецъ — нечего намъ церемониться!—вѣдь явно вы къ тому гнете, такъ себя ставите, чтобъ я могъ васъ назвать... ну просто языкъ на эту глупость не поворачивается — чортомъ? Этого вы хотите? Еще ужимается, туда же! Чортомъ?!

Иванъ Ивановичъ разъяренно наступалъ на гостя, который оставался, маленькій и спокойный, тихо на своемъ креслѣ. Только улыбнулся. И такъ кротко и нѣжно, что Иванъ Ивановичъ устыдился.

— Вы извините, если я невѣжливъ, — сказалъ онъ, понизивъ тонъ. Теперь всѣ раздражены. Но, конечно, по существу я отъ моей оппозиціи отказаться не могу... И весьма просилъ бы васъ...

Посѣтитель съ ласковой нѣжностью тронулъ его за рукавъ.

— Это вы меня извините... Это я виноватъ. И, насколько въ моихъ силахъ, я сейчасъ же вамъ все разъясню. Съ конца начнемъ. Васъ слово смутило? Слово „чортъ“? Не такъ ли?

— Ну да... Согласитесь сами...

— Да вѣдь всѣ слова ваши же условные

знаки для изображенія понятій,--вотъ и все. Если у васъ является слово—значитъ навѣрно есть понятіе, существуетъ, какъ безспорный фактъ. Пользуются для опредѣленія факта словомъ, которое наиболѣе удобно и просто. Именуютъ фактъ. Если ваше понятіе обо мнѣ можетъ быть опредѣлено словомъ — „чортъ", — прекрасно, называйте меня чортомъ. Точнѣе: если понятіе, которое существуетъ у васъ подъ словомъ „чортъ", приложимо ко мнѣ, то, несомнѣнно, я — чортъ. Болѣе скажу: я самъ, во многихъ пунктахъ, раздѣляю и вашъ взглядъ, и ваше опредѣленіе, и умѣстность даннаго слова. Но, конечно, мы очень расходимся въ деталяхъ.

— Значитъ, — проговорилъ Иванъ Ивановичъ, криво усмѣхаясь,—вы предлагаете признать, что чортъ существуетъ.

-- Какъ фактъ, дорогой мой, какъ фактъ. Изъ области фактовъ мы не выходимъ. Понятіе -фактъ, слово—другой; я самъ, съ вами говорящій — третій. Не такъ ли? И даже—возьмемъ самое послѣднее предположеніе, маловѣроятность котораго и вами уже признана — даже если я самъ не что иное, какъ продуктъ вашего болѣзнен-

наго воображенія — и это не отрицаетъ факта моего реальнаго существованія гдѣ то, ну хотя бы въ этомъ же болѣзненномъ воображеніи, которое, оно-то, въ такомъ случаѣ ужъ непремѣнно фактъ, реальность. Значитъ и тутъ я — существую въ реальности.

— Фу, какая софистическая схоластика! По истинѣ чертовская! — сказалъ Иванъ Ивановичъ и разсмѣялся.

Чортъ тоже засмѣялся.

— А я же вамъ предлагалъ попросту, безъ углубленій. Чортъ, такъ чортъ, удобно и ясно. Насчетъ деталей можно поговорить. Но, право, лучше въ другой разъ. Я пришелъ просто развлечь васъ, сказочку невинную вамъ разсказать...

— Благодарю васъ. Однако, я все-таки, теперь же, хотѣлъ бы отвѣта и на другіе мои вопросы. Допустимъ, вы — чортъ. Но что вамъ отъ меня нужно? Принявъ, что вы чортъ, долженъ я принять, что вы ходите къ людямъ, чтобы куда-то „соблазнять" ихъ, такъ?

— Ахъ, ахъ, какъ примитивно, какъ неразработано ваше понятіе о чортѣ. Я бы выразился сильнѣе—но вѣжливость первое

наше качество. Соблазнять! Пожалуй, вы о грѣхахъ вспомните! Это, извините, ужъ клерикализмъ. Нѣтъ, бросимъ отжившія понятія. Я буду прямъ и откровененъ. И очень кратокъ. Видите ли: мой постоянный, такъ сказать, извѣчный споръ съ...

Иванъ Ивановичъ перебилъ:

— То говорите „мы", то „я". Вы во множественномъ числѣ, или въ единственномъ?

— Это, право, не имѣетъ существеннаго значенія. Какъ хотите. Какъ вамъ удобнѣе. Пишутся же единодержавные манифесты: „Мы, такой-то"... Кажущееся противорѣчіе. Не будемъ на этомъ останавливаться. Итакъ: вѣчный нашъ споръ съ Богомъ...

Иванъ Ивановичъ не выдержалъ и опять перебилъ:

— Нѣтъ, позвольте. Только что упрекали меня въ клерикализмѣ, а теперь сами спокойно говорите: Богъ... На какихъ основаніяхъ вы убѣждены, что я вѣрю въ Бога? Тутъ, въ лучшемъ случаѣ, вопросъ: Богъ-то, существуетъ ли еще?

Чортъ вздохнулъ.

— Видите, для удобства разговора это

приходится тоже принять, не углубляясь. Иначе опять назадъ пойдемъ. Опять — существую ли я? Существуетъ ли понятіе? И такъ далѣе. Да что вамъ? Примите, какъ слово, какъ меня. Все, вѣдь, относительно.

— Ну, хорошо, ладно, продолжайте. Не буду больше перебивать.

— Споръ нашъ съ Богомъ,—продолжалъ чортъ, усаживаясь удобнѣе, — одинъ, изъ вѣковъ въ вѣка все тотъ же. Богъ утверждаетъ, что человѣкъ созданъ по Его образу и подобію, а я—что по моему. Вотъ и стараемся мы оба каждый свое положеніе доказать. Для этого я стараюсь поставить человѣка въ условія, самыя удобныя для проявленія его сущности, которая, по моему мнѣнію, тождественна съ моей, — создаю, по мѣрѣ силъ, атмосферу, наиболѣе благопріятную, въ этомъ смыслѣ, для человѣка. Богъ же склоненъ ставить людей въ положенія, способствующія проявленію сущности божественной, (если таковая въ человѣкѣ и есть его первая сущность). Поправдѣ сказать—это я спорю съ Богомъ, а Онъ не споритъ; Онъ какъ то слишкомъ увѣренъ въ томъ, что утверждаетъ; и думаетъ (совершенно логично), что настоящая

сущность, разъ она настоящая, должна проявляться одинаково во всѣхъ обстоятельствахъ, атмосферахъ и положеніяхъ. Такъ что выходитъ, съ Его точки зрѣнія, что я не Ему мѣшаю, а только людямъ, которые иногда, отвлеченные моими устроеніями, не успѣваютъ проявить своей собственной природы, а проявляютъ какъ бы чуждую, извнѣ навязанную, мою. Заперевъ себя въ кругѣ этого соображенія, конечно, можно оставаться неуязвимымъ ни для какихъ фактическихъ доказательствъ; но для меня логика и справедливость—все; они восторжествуютъ, сомнѣній тутъ нѣтъ; и фактики, реальности, я собираю въ кучку, терпѣливо, добросовѣстно, какъ курочка по зернышку. Каждый фактикъ—камешекъ моего будущаго дворца. Мѣшаю людямъ! Да вѣдь это съ какой точки зрѣнія. Съ моей – помогаю всѣми силами, не жалѣя себя. Людямъ — и торжеству правды. Пригодятся фактики, не безпокойтесь. Они, фактики, правду то и созидаютъ. Противъ фактиковъ, въ концѣ всѣхъ концовъ, не пойдешь. Подумайте: одинъ не успѣлъ понять и проявить свой образъ Божій и подобіе, другой не успѣлъ, тысяча не успѣли,

милліарды не успѣли, всѣ мое подобіе проявили; всѣмъ я, значитъ, помѣшалъ? Ну, знаете, тутъ скромность моя, не смѣю такой силы себѣ приписывать. Это ужъ пусть будетъ заслуга самихъ людей, что они, съ моей помощью, по правдѣ жили и себѣ, своей настоящей природѣ, остались вѣрны. Пусть ужъ лучше такъ будетъ. Я безкорыстенъ, мнѣ только правда нужна, и чтобы люди жили по правдѣ. Къ тому же, такъ живя, они наиболѣе счастливы. Между прочимъ, значитъ, я стремлюсь и сдѣлать людей счастливыми.

— Гм... задумчиво проворчалъ Иванъ Ивановичъ.—Къ правдѣ, къ правдѣ... Ужасъ, сколько наболтали. Но, во-первыхъ, еще неизвѣстно, что для васъ правда, а во-вторыхъ—мнѣ почему-то кажется—ощущеніе такое странное — что все время вы врете. Съ перваго слова до послѣдняго — все вранье.

Чортъ хитро усмѣхнулся.

— А не дѣйствуетъ у васъ тутъ какая-нибудь старая ассоціація? Чортъ — значитъ ложь. Съ чортомъ—нетрудно: бери все наоборотъ—и будетъ правда. Я вамъ не говорилъ, что, ратуя за конечное торжество

правды, я обязанъ никогда, ни разу не сказать неправды, даже если въ интересахъ той же истины солгать, преувеличить, не допустить неточность; вѣдь и всѣ слова лишь болѣе или менѣе точны. Но понятіе о чортѣ, какъ непремѣнной, вездѣ и всегда, лжи — прежде всего не умно. Что молъ, съ чортомъ и считаться? Сказалъ—значитъ не то. Ей Богу, даже если глядѣть на чорта по старому, какъ на „соблазнителя", и то неумно: соблазнъ въ томъ, что чортъ и лжетъ—и правду говоритъ. Твое дѣло разобрать, пошевелить мозгами. Никакого чорта никто дуракомъ круглымъ не считалъ. Нѣтъ, увѣряю васъ, мы умны—и вы умны. Это тоже одно изъ глубокихъ сходствъ.

— Да... произнесъ невольно польщенный Иванъ Ивановичъ. — Однако, вы не отрицаете, что иногда лжете?

Чортъ пожалъ плечами.

— Какъ вы... Все относительно... Отличить правду отъ лжи мыслящему человѣку не трудно.

Бросимъ эти разсужденія, право. Скептицизмъ утомляетъ, и безъ всякой пользы. Я знаю, у васъ еще много вопросовъ, вамъ хотѣлось бы прослѣдить, что именно

въ васъ меня привлекаетъ, какое вліяніе на вашу жизнь имѣло знакомство со мною,— вамъ кажется никакого, неправда ли? Но я усталъ, вы устали... Я—повторяю—въ этотъ разъ пришелъ къ вамъ съ единственной цѣлью — развлечь пустой сказочкой, освѣжить ваши силы.

— Ну, знаете, это еще вопросъ, имѣетъ ли порядочный человѣкъ право развлекаться пустыми сказками въ такое время? Не до сказокъ... Жизнь кипитъ, идетъ впередъ. Надо дѣйствовать, а не развлекаться.

— Почему же вы не дѣйствовали, а сидѣли у себя въ кабинетѣ, когда я пришелъ?

— Я... я усталъ, — раздраженно произнесъ Иванъ Ивановичъ. — Только что вернулся изъ союза, кричали-кричали... А вечеромъ у меня партійное засѣданіе. Партія, признаться, начинаетъ слишкомъ крайничать... Я даже сомнѣвался, идти ли мнѣ сегодня, особенно въ такомъ раздраженномъ состояніи... Да чего я вамъ объ этомъ разсказываю? Очень нужно!

— Очень, очень нужно,—серьезно проговорилъ чортъ. Я ужъ чувствовалъ, что вы запутались, оттого и пришелъ. Вы, вѣдь,

на переломѣ вашей жизни въ нѣкоторомъ родѣ. Все теперь переламывается, мчится съ головокружительной быстротой. И впередъ, это несомнѣнно. Исторія — нѣчто неповторяющееся, смѣю васъ увѣрить. Навыкъ, конечно, помогаетъ, но смекалка намъ нужна и приспособленіе. Вотъ я вамъ давеча про французскую революцію упомянулъ. Тоже было время, однако теперь ужъ приходится вырабатывать совершенно новые методы. Партійки теперь эти... туда взглянуть и сюда! Совсѣмъ другой коленкоръ. И чувствуешь, конечно, что тутъ не безъ твоей капли меда... перемѣнки то эти счастливыя. Человѣкъ, знаете,—прекрасно, не спорю... Ну одинъ, другой, третій... всетаки единицы. А возьмите вы человѣчество! Вѣдь какъ звучитъ-то! Человѣчество идетъ! Всѣ со всѣми! Это ужъ не тотъ разговоръ! Да позвольте, спохватился вдругъ чортъ, — я не о томъ, я совсѣмъ о другомъ хотѣлъ спросить васъ. Вотъ вы устали, сомнѣваетесь, нервы у васъ напряжены... Идти, куда хотѣли, не хочется... Ну, а Олечка что? Тоже устала или нѣтъ?

— Какая Олечка? — вспыхнулъ Иванъ Ивановичъ. Она вамъ не Олечка...

— Извините, ради Бога. Я про Ольгу Ивановну. Про невѣсту вашу.

— Ольга Ивановна... да вы знаете, навѣрно,—такъ къ чему выпытывать?

Чортъ заторопился.

— Нѣтъ, нѣтъ, не знаю, но, конечно, предполагать все можно...

— Ольга Ивановна—сильный человѣкъ,—сказалъ Иванъ Ивановичъ какъ то кисло. Я уважаю ея прямолинейность, ея огонь. Не говорю, чтобы у меня не было огня, но я, какъ мужчина, болѣе склоненъ иногда слушать доводы трезваго разума... И, можетъ быть, колебаться передъ какимъ нибудь крайнимъ шагомъ... Да вы не вообразите, что я боюсь чего нибудь... Или, что убѣжденія Ольги Ивановны считаю неразумными... Нѣтъ, очень, очень разумными. Теорія, заслуживающая вниманія, должна основываться сплошь на разумѣ. Разногласія могутъ родиться лишь въ способахъ примѣненія ея на практикѣ... И то или другое данное лицо, въ извѣстный моментъ исторіи, можетъ спросить себя... Ну, я запутался. Смѣшно такъ говорить. Вы отлично все понимаете.

— Понимаю, понимаю,—скромно под-

твердилъ гость. И благородное томленіе ваше понимаю. Не быть въ настоящее время общественнымъ борцомъ, не внести вашу силу въ этотъ бушующій потокъ жизни—вы не въ силахъ. Для васъ это было бы нечестностью и самоубійствомъ. Соединиться же для этой борьбы вы можете только съ той фракціей людей, конечные идеалы которыхъ... pardon, максимумъ программы которыхъ совпадаетъ съ вашимъ, научно обоснованъ и потому наиболѣе реализуемъ... Вы чувствуете, что сила—у нихъ, будущее за ними, и желанное для васъ будущее... А между тѣмъ что то мѣшаетъ вамъ вступить въ ихъ ряды, сплотиться, слиться, двинуться съ ними вмѣстѣ, тѣло около тѣла,—впередъ... Знаете, что вы давеча наклеветали на себя, что васъ „практика" смущаетъ... Что тутъ практика! Не такой вы человѣкъ; вы — настоящій, совсѣмъ по времени. Кое что, только, можетъ, застряло въ васъ... Оно неопредѣлимо, вамъ самому не видно... Да это пройдетъ. Все будетъ хорошо. Вотъ и невѣста ваша — вѣдь цѣнитъ васъ? цѣнитъ?—а она ужъ все препобѣдила. Мало ли какія старыя марева есть. Когда у че-

ловѣка крылья выростутъ, у перваго, онъ, несмотря на всю очевидность права своего полета, всетаки будетъ ощущать нѣчто въ родѣ страха и колебанья прежде, чѣмъ— въ первый то разъ!—броситься внизъ, съ крыши, и „въ просторѣ синемъ утонуть".

Непремѣнно въ концѣ концовъ, бросится и „утонетъ", а моментъ этотъ непремѣнно перейдетъ: какъ же, молъ, такъ: все былъ я, былъ,—а тутъ вдругъ броситься и „утонуть въ просторѣ?" Да ничего, это самый крошечный моментикъ, полмоментика, — а тамъ все хорошо будетъ. Его и замѣчать и обсуждать не нужно. Толчокъ—и готово.

— Ну, я не понимаю этихъ вашихъ метафоръ, — уныло сказалъ Иванъ Ивановичъ. Все гораздо проще. Вы вѣрно сказали, что я горю необходимостью дѣйствовать. Это мой долгъ. И я могу отдаться дѣятельности только безвозвратно, тѣломъ и душой. Я прекрасно сознаю, что дѣятельность возможна лишь партійная. Партія, передъ которой я стою, которая по существу уже моя, она, однако...

— О, голубчикъ!—взмолился гость. Не утруждайте себя, бросимъ! Я слишкомъ вѣрю въ васъ и въ правду, которая должна во-

сторжествовать, мнѣ просто стыдно говорить объ этомъ, совѣтовать вамъ что нибудь. Такъ или иначе рѣшите вы сомнѣнія — но вы ихъ рѣшите, и непремѣнно самъ, безъ тѣни какого нибудь посторонняго совѣта. И рѣшеніе ваше—будетъ истиной. Въ этомъ я увѣренъ. Объ одномъ прошу. Дайте мнѣ успокоить васъ тихой сказочкой—безъ всякой тенденціи, просто поэтической сказочкой. Мы, вѣдь, всѣ—какъ и вы—немножко поэты. Поэзія успокаиваетъ нервы. А вамъ теперь необходимо успокоить нервы.

Иванъ Ивановичъ безпомощно взглянулъ на часы, шевельнулся въ креслѣ, но не всталъ, полузакрылъ глаза.

— Да разсказывайте вашу сказочку, надоѣли! Мнѣ все равно. Лучше бы не длинно. Ослабѣлъ я какъ то тутъ съ вами, чортъ знаетъ что!

— Да, да, знаю,—нѣтъ, нѣтъ, не ослабѣли,—живо подхватилъ чортъ, который, казалось, только этого и ждалъ. Онъ быстрымъ движеніемъ не то кошки, не то ребенка — какъ то особенно мило умостился на своемъ креслѣ противъ Ивана Ивановича (ихъ раздѣлялъ письменный столъ).

Ивану Ивановичу показалось, что чортъ даже слегка прикрылъ глаза. Увѣренности, однако, быть не могло, такъ какъ, если Иванъ Ивановичъ приглядывался—ему начинало казаться, что у гостя вовсе никакихъ глазъ опредѣленныхъ не было. Да и лица не было. Не смотрѣть на него—тогда оно виднѣе.. Такъ слабыя звѣзды видны, если не смотришь на нихъ прямо, а мимо, рядомъ. Бокомъ глаза какъ будто и видны.

— Я не очень длинно стану разсказывать, — сказалъ чортъ, и голосъ у него вдругъ сталъ другимъ, серьезнѣе, глубже,— задушевный, нѣжный и простой.

— У меня даже двѣ сказочки, но обѣ коротенькія. Не знаю, сказочки ли. Сны такіе у меня были. Мы, вѣдь, часто видимъ сны, и самые простенькіе. Эти два—одинъ за другимъ мнѣ снились—я ихъ и считаю за одинъ. А вамъ разсказываю потому, что они—немножко о васъ, и такіе мечтательные, такіе нѣжные, пріятные... И тихіе... Можетъ быть, и не сны, можетъ быть, такъ это мнѣ мечталось... Вотъ послушайте. Вы слушаете? Солнце я видѣлъ. У насъ ноябрь на дворѣ, слякоть, мзглять, да темнота коричневая, а я вижу, будто,

солнце. Яркое такое, бѣложелтое, горячее стоитъ посреди неба. И страна не наша— теплая, зеленая и голубая, и пора не наша— весна. И часъ не нашъ—утренній. Песокъ морской, камни, іодомъ пахнетъ тамъ, гдѣ волна шевелится и раскачиваетъ длинныя ржавыя водоросли. А море все, до самого конца, куда только глазъ видитъ, легкое-прелегкое, только огоньки отъ солнца по голубому бѣгаютъ, загораются и гаснутъ. У самаго берега, у воды, мягко на пескѣ, и тихо-тихо: уютное такое мѣстечко, сзади скала высокая, сверху свисаютъ темныя, кудрявыя деревья. И вотъ, вижу я — на пескѣ, у самой теплой воды, гдѣ водоросли качаются, сидятъ двое. Человѣкъ, будто вы, а съ нимъ барышня. Дѣвочка такая хорошенькая, тоненькая-претоненькая, и совсѣмъ молоденькая. Не знаю ужъ, сколько ей лѣтъ, а на видъ—должно быть пятнадцать. И простое-простое у нея лицо, свѣтлое, въ глазахъ тоже огоньки солнечные отражаются. И у него—то есть у васъ—лицо свѣтлое и молодое. Вы, будто, дѣвочку эту, и море бѣлое, чужое и прекрасное, и самого себя, свѣтлаго — любите. И ни Ольга Ивановна (вѣдь это сонъ!) и ника-

кая другая женщина вамъ не нужна, а только, будто, эта единственная на всѣ времена, какъ самъ, будто, вы для себя единственный на всѣ времена, какъ солнце единственное солнце до конца временъ. И не оттого любите вы ее, что такая она хорошенькая и юная, а все вокругъ васъ такъ пышно, вольно ярко и прекрасно, — а оттого и прекрасно, оттого она и хорошенькая, оттого у васъ и лицо свѣтится, что вы ее любите. И кажется вамъ, что вы для себя весь секретъ открыли. Есмь и я, есть и она, есть и міръ, широкій, счастливый, солнечный. Такъ просто.

Дѣвочка говоритъ:

— А я еще кого-то поверхъ тебя люблю, оттого и тебя люблю, оттого и солнце свѣтитъ.

И смотритъ поверхъ, туда, гдѣ море до небесъ поднялось, точно увидѣть хочетъ идущаго по волнамъ, того, кого любитъ сначала любви. Въ солнечномъ дымѣ все дрожитъ, не видно, и вы тоже смотрите, и вамъ тоже кажется, что вы любите кого-то больше, прежде, чѣмъ дѣвочку свѣтлую, песокъ и солнечный огонь, и что такъ хорошо, а больше ровно ничего не нужно,

потому что все цѣликомъ уже вамъ отдано. Весна пышная, край, можетъ быть, чужой — да онъ и свой: вѣдь все вамъ цѣликомъ стало свое, во всю ширину ваше, навсегда.

Дѣвочка говоритъ...

Разсказчикъ остановился на мгновеніе, задумался. Потомъ продолжалъ, вздохнувъ:

— Но здѣсь точно поплыло у меня въ глазахъ все и уплыло, и ужъ ни моря не вижу, ни темныхъ деревьевъ на скалѣ, а солнце—не поблѣднѣло—только тише стало, нѣжнѣе, ласковѣе. Серебряное стало, не золотое. Будто не весна—а къ осени ужъ дѣло, лѣто еще—а такъ, клонитъ ужъ оно немножко. Лѣсъ, будто, березовый, нашъ, русскій, бѣлый лѣсъ, и славныя березы, частыя, стройныя. А въ лѣсу просѣка, широкая, зеленой, высокой травой заросшая, въ травѣ лиловые колокольцы кое-гдѣ, да крупная такая ромашка: знаете — предосенняя, съ большой желтой сердцевиной. А просѣка такая широкая, длинная, да прямая, что назадъ ли взглянешь, впередъ ли—только и видно, какъ она уходитъ межъ зеленыхъ стѣнъ, а надъ ними небо даже острое, острымъ голубымъ кускомъ понижается. Грибками ужъ пахнетъ, листочкомъ

прѣлымъ и предзакатной этакой травяной сыростью, сучками, корой, да болотцемъ... Въ середину просѣки другая впивается, такая же широкая, а въ ея конецъ ужъ нельзя смотрѣть, потому что тамъ стоитъ, низко, солнце, и такъ и стелятся по травѣ длинные—длинные лучи.

А на перекресткѣ сидятъ люди, какъ разъ на концѣ лучей. Сколько сидитъ—не могу сосчитать, но только ужъ не двое, а можетъ быть трое, или четверо, можетъ быть, больше, однако не много. И лица у меня ужъ въ туманѣ, солнце, что ли, мѣшаетъ разглядѣть, какъ слѣдуетъ... Но вы тутъ, съ ними, это я отлично знаю. Дѣвочки той нѣтъ, а впрочемъ кто ее знаетъ, можетъ и есть, ясно-то, говорю, мнѣ не видно. Сидятъ они на травѣ, всѣ вмѣстѣ, а передъ ними—костеръ. На самомъ солнцѣ костеръ, огонь высокій, сухія вѣтки такъ и трещатъ, а огня не видно, желтый онъ весь, прозрачный, точно стеклянный. И дымъ тихій, высокій и прозрачный, вверхъ идетъ, и какъ на солнце найдетъ — такъ начнутъ въ немъ свиваться большіе янтарные и радужные круги. А людямъ, будто, хорошо, тихо, и весело, и говорятъ они о

простомъ, а выходитъ особенно. У костра пастушенокъ стоитъ, маленькій, съ громаднымъ кнутомъ, увидѣлъ, что костеръ раскладываютъ — помогаетъ, цѣлую елку сухую приволокъ.

— Сейчасъ на мызу погоню, время,— говоритъ пастушенокъ и улыбается.

— А отецъ у тебя есть?—спрашиваютъ его.

— Отецъ-то есть, да живемъ-то плохо, надѣлъ малъ. Да что жъ, а то и ничего,— прибавляетъ вдругъ пастушенокъ неожиданно и опять улыбается.

И всѣ улыбаются ему и кто-то говоритъ, вы, кажется:

— Ничего, ничего, ты не бойся только. Все будетъ. А грибы куда собираешь?

— Да вотъ, въ кошелку...

Отъ дыма и солнца глазамъ больно, отъ огня дышетъ тепломъ, пахнетъ ужъ совсѣмъ осенне, гарью, и лѣсной, дремной свѣжестью.

— Хорошо намъ, — говоритъ кто то, — хорошо здѣсь. И всегда будетъ хорошо вездѣ, гдѣ мы будемъ вмѣстѣ. И всѣмъ будетъ хорошо, если намъ хорошо и мы вмѣстѣ.

Ваше лицо я будто яснѣе вижу, и такое оно опять у васъ свѣтлое, еще свѣтлѣе, чѣмъ у весенняго моря. Точно ужъ весь секретъ, до самаго кончика, вы открыли. И не оттого вамъ хорошо, что огонь горитъ и солнце свѣтитъ, а оттого и солнце такое, и огонь, оттого и люди у костра хорошіе, что вы каждаго, въ родѣ какъ бы дѣвочку ту, любите, каждый для васъ — единственный, какъ и самъ вы для себя единственный, какъ солнце—одно въ углу просѣки.

— А поверхъ каждаго я еще что-то люблю,—говорите вы.

И опять кажется вамъ (и всѣмъ, должно быть), что и просѣка, и острое небо въ ней, и призрачное пламя—все это ваше, вамъ безраздѣльно дано, и что это—хорошо. Такъ просто: вѣдь каждый человѣкъ у костра—человѣкъ. И если онъ можетъ у костра сидѣть такъ, и у него въ сердцѣ огонь и солнце, и пастушенокъ на всѣхъ улыбается—отчего же и другой, каждый, котораго нѣтъ сейчасъ здѣсь, не сможетъ такъ же сидѣть, отчего у него не будетъ въ душѣ того же солнца и огня? Будетъ, будетъ. Кто захочетъ—у того и будетъ.

— Такъ просто,—говорите вы. Мы теперь знаемъ, что просто. И другимъ надо узнать...

Кто то тихо вамъ отвѣчаетъ:

— Мы знаемъ, а если есть такой, хоть одинъ, который никогда не узнаетъ? Сказать—не пойметъ, показать—не возьметъ... Ему что? Пропадать? За что же? Вѣдь онъ не виноватъ. У него мало, у другого много. Мнѣ жаль того, у кого мало.

А вы взглянули свѣтло и строго (никогда такого лица у васъ не видалъ) и говорите:

— Не жалѣй никого. Жалость разъѣдаетъ счастье, разъѣдаетъ любовь. У кого мало—тѣхъ любитъ тотъ, кто одинъ смѣетъ любить всѣхъ и никого не жалѣетъ. Развѣ ты хочешь справедливости? Развѣ міръ не оттого такъ прекрасенъ, что устроенъ не по справедливости, а по любви? По справедливости было бы: кто имѣетъ много— у того возьмется и дастся тому, кто имѣетъ мало; и у всѣхъ будетъ одинаково. Но міръ по любви и свободѣ устроенъ, а потому никто не смѣетъ имѣть мало, а если имѣетъ, то возьмется у него все и дастся имѣющему много. Если по справедливости—то не всходило бы солнце надъ ненавидящими

солнце, но по любви оно всходитъ надъ всѣми, чтобы и ненавидящіе могли полюбить его. Справедливость ищетъ закона и права. А развѣ мы не знаемъ, что законъ и право не нужны людямъ?

Отъ костра искры вдругъ полетѣли вверхъ, съ трескомъ просіяли—и пропала каждая въ дыму. И опять кто-то робко сказалъ вамъ:

— Мнѣ искръ, и тѣхъ жалко... Но, можетъ быть, ни одна не пропала... Только отъ насъ такъ кажется. Да, не надо справедливости. Огонь тоже не по справедливости, а по любви.

Такъ они сидѣли и говорили (а можетъ быть, думали только вмѣстѣ, а я мысли, для реальности, въ слова одѣлъ) и былъ въ нихъ—міръ, съ небомъ, съ землей, съ людьми, съ любовью; міръ, единственный, который данъ каждому единственному и прекрасенъ, потому что его можно любить, и что отъ этого міръ не только непремѣнно спасется, но уже какъ бы спасенъ. Все уже есть, все, что навѣрно будетъ. Солнышко ниже и положе тянуло звонкіе лучи, огонь то никъ, то, все еще блѣдный какъ стекло, прыгалъ вверхъ, обливая жидко,

властно и ѣдко сухіе сучья; дышало березовой свѣжестью, цвѣточными травами, и счастьемъ. Главное — счастьемъ... Можетъ быть, и не было еще его тутъ, самого то, окончательнаго, вошедшаго въ міръ, сдѣлавшагося міромъ,—вѣдь такъ еще мало было людей у костра, и такъ еще длинны и трудны были ихъ пути,—длинны солнечные лучи на просѣкѣ; но счастьемъ дышало у костра... Понимаете? Такимъ вѣрнымъ обѣщаньемъ счастья, что оно ужъ какъ бы не обѣщанье было, а само счастье наклонилось съ неба къ землѣ и обняло ее. И вы, отъ этого свѣта тихаго,—тихаго и вѣрнаго, вы...

Но тутъ случилось что-то неожиданное, невозможное. Иванъ Ивановичъ, который все время сидѣлъ не шевелясь, съ полузакрытыми глазами, словно убаюканный переливчатымъ голосомъ разсказчика, вдругъ вскочилъ. Такъ внезапно, что загрохотало опрокинутое кресло. И, схвативъ со стола тяжелый чугунный подсвѣчникъ, съ силой пустилъ его въ лицо собесѣдника. Хотя подсвѣчникъ полетѣлъ прямо, а жертва неуклонилась — трагическаго почему то не произошло; только чугунъ загремѣлъ въ дальнемъ углу, ударившись объ полъ. Иванъ

Ивановичъ ничего не видѣлъ. Онъ даже не кричалъ, а вопилъ, оралъ, врядъ ли понимая самъ свои безпорядочныя слова.

— Вонъ сейчасъ же! Вонъ, дьяволъ, собака, песъ! А, не попало? Берегись: я тебѣ лампой морду раскрою. дьяволъ сладкопѣвецъ, соблазнитель, чертова порода, Я тебѣ...

Иванъ Ивановичъ, въ неистовствѣ, дѣйствительно схватилъ лампу. Но чортъ былъ уже около него; нѣжный, юркій, весь внезапно заискрившійся, онъ держалъ и мялъ руки Ивана Ивановича.

— Голубчикъ вы мой! Сладкій вы мой! Утѣшеніе вы мое. Да вѣдь нарочно же я... Для васъ же я...

Иванъ Ивановичъ не слушалъ, и вырывался, и все кричалъ свое:

— Безчестить меня хочешь? А? Эти розсказни еще кому разсказывалъ, а? Когда отъ меня кто такую мерзость идіотскую, пошлую, подлую слышалъ, какъ ты про меня наплелъ? Когда? Клеветникъ подлый! Поэзію распустилъ, сны какіе то мечтательные, дѣвчонки, костры, любви, ромашки! Да я бы себя собственными руками задушилъ, если бъ способенъ былъ хоть на единое

мгновенье всю эту подлость безчеловѣчную въ себѣ вообразить! Да я...

— Родненькій, успокойтесь... молилъ чортъ и опять вдругъ такъ весело и ярко заискрился, что Иванъ Ивановичъ прикрылъ глаза. Но слушать онъ всетаки ничего не хотѣлъ.

— Вонъ, говорю! Чтобъ духу твоего не было! Убаюкалъ, дуракъ! Я сначала слушалъ-слушалъ — а онъ вонъ что! Сейчасъ же убирайся! Я ухожу, все равно. Показалъ бы я тебѣ, дьяволъ, какъ честные люди съ буржуями у костровъ сидятъ, по заграницамъ шляются, да о любвяхъ мечтаютъ! Солнышко, скажите пожалуйста! Идилія! О солнцѣ людямъ говорить! Чорта имъ въ солнцѣ, имъ жрать нечего, они въ крѣпостяхъ да тюрьмахъ сидятъ, а дома у рабочаго сырость, да холодъ... А имъ тутъ про заграницы да про любовь! И слушать то это подло было, подло, подло!

— Ольга Ивановна пріѣхала, — сказала кухарка, пріотворивъ дверь.

Иванъ Ивановичъ, еще весь дрожа отъ негодованія, обернулся.

— Скажите сейчасъ, сейчасъ, сейчасъ! Иду!

Онъ сталъ метаться, отыскивая шапку. Чортъ продолжалъ ловить его руки.

— Охъ, утѣшитель вы мой! Ну, бросьте же сердиться на меня. Будьте ко мнѣ справедливы. Повѣрьте, поймите, вѣдь нарочно я! Вѣдь вы усталый были, въ сомнѣніи, а чѣмъ же духъ то поднять какъ не картиночной этакой отталкивающей? Вѣдь, вотъ, небось сомнѣній то у васъ сейчасъ нѣтъ? Какъ не бывало? Вранье это мое, никогда я васъ такимъ во снѣ не видалъ! Развѣ я васъ не знаю? Навру, думаю, про этакое-такое, черезъ отталкиванье-то правда въ сердечкѣ благородномъ и возсіяетъ. Нарочно вамъ все такое безнравственное подпустилъ, — самому было противно, честное слово. Не вѣрите? А напрасно, мы честные-пречестные, намъ нравственность дороже глаза, намъ нельзя иначе, ужъ очень мы человѣческій родъ жалѣемъ. Ну, пострадалъ я, выдумывая вамъ пакости, а ужъ за то утѣшенъ то какъ! Вонъ вы какъ загорѣлись. Теперь не устанете. Теперь полетите, какъ на крылышкахъ...

Иванъ Ивановичъ уже слушалъ, не вслушиваясь, разсѣянно. Вспышка его почти прошла, ну, навралъ чортъ—тѣмъ лучше.

Чортъ его больше не интересовалъ. Онъ торопился и только хотѣлъ теперь по дорогѣ припомнить рѣчь, которая ему еще вчера приходила на умъ, и которую онъ думалъ сказать, если пойдетъ вечеромъ „туда“. Теперь никакого „если“ больше не существовало, надо было только припомнить рѣчь. Онъ чувствовалъ, что она будетъ огненная.

— Да... да... Отлично. Я вѣрю. Не плетите мнѣ вздора впередъ. Чего тамъ „зажегся“. Это я нарочно про сомнѣнія. Какія могли быть сомнѣнія? Подлецомъ отвлеченнымъ я никогда не былъ. Если я, въ минуту чисто физической усталости, поддался вашимъ приставаньямъ и слушалъ васъ—то это еще ничего не доказываетъ... Вотъ съ вашей стороны, плести какую то чепуху декадентскую и притомъ имморальную — дѣйствительно...

— Ну, простите, простите... — кланялся чортъ, бѣгая по комнатѣ за Иваномъ Ивановичемъ, который, найдя шапку, поспѣшно собиралъ и совалъ по карманамъ какія-то бумажки.

— Простите, погорячились и довольно. Неужели я не зналъ, что васъ эти миндали

небесные съ кострами и морями никогда не соблазнятъ? Что никакой самый малюсенькій, самый утаенный уголокъ души у васъ этимъ всѣмъ и не былъ зараженъ? Не дуракъ же я, чтобы васъ у костра мечтателемъ видѣть! Есть такіе, ей Богу, есть, экономику даже хотятъ противоестественнымъ путемъ посредствомъ костровъ да любвей устраивать... Не вѣрите? Честью клянусь! Принадлежатъ идейно къ фракціи буржуазныхъ индивидуалистовъ. Тоже своя „партія"—небесно миндальная. Къ счастью—совершенно безвредная. Ужъ, конечно, не такую „партію" подразумѣвалъ Солонъ, когда сказалъ: „безчестнымъ считается тотъ, кто остается внѣ партій".

— Да, да... Солонъ... перебилъ Иванъ Ивановичъ, который вдругъ вспомнилъ, что именно Солона-то онъ и хотѣлъ упомянуть въ своей рѣчи. Внѣ партій... не примыкаетъ къ партіи... во времена общественной борьбы. Да, да... Всякое проявленіе индивидуальной, личной жизни—въ такое время безчестно... А борьба должна быть непрерывной... Да, да... Только окончательная соціализація... Солидаризація... впрочемъ—это относится къ области идеологіи. Какъ

одинъ изъ минимумовъ я хотѣлъ выставить... Но посмотримъ, посмотримъ. Я иду. Прощайте.

— Я тоже иду, тоже иду,—заторопился чортъ. Я, вѣдь, тоже туда... Куда вы. Я, вѣдь, тамъ теперь постоянно бываю. Вы услышите, я и говорю часто. Вы свое скажете (чудесно скажете сегодня, уже я знаю)—а послѣ я буду говорить. Вы сейчасъ и узнаете меня. Я ваше положеніе непремѣнно поддержу... Я...

Иванъ Ивановичъ пошелъ къ двери, чортъ за нимъ, не переставая пожиматься и болтать.

— Я вчера такъ кричалъ, что охрипъ, честное слово! Люблю я эти дебаты. Иногда необходимо спокойствіе и властность — иногда огонь и жаръ. Смотря по требованію реальности. Реализмъ—это все, дорогой мой; тутъ мы съ вами не разойдемся.

— Опять вы заврались, — пренебрежительно сказалъ Иванъ Ивановичъ. Не вѣрю я, чтобъ вы туда ходили, куда я теперь ѣду. Вѣдь вы больше о tête á tête'ахъ печетесь...

— Нѣтъ, нѣтъ, теперь я партійки, партійки... Вселенскую бы такую партійку...

Чтобъ выдержала вселенскость... Понимаете? Чтобъ ужъ для всѣхъ... Огуломъ ужъ тогда, всѣхъ сразу къ торжеству правды подвинуть. Да здравствуетъ борьба за правду и право! А въ борьбѣ ужъ не до мечтаній... Не до любвей...

— Да, да...—разсѣянно и весело сказалъ Иванъ Ивановичъ, надѣвая галоши.—Не до любвей. Гдѣ Ольга Ивановна? На извощикѣ дожидается? Хорошо, хорошо, иду. И чортъ васъ знаетъ, когда вы правду говорите, когда врете. Иной разъ и дѣльное сморозите. Ну, да мнѣ наплевать. Я свое и безъ васъ знаю.

Иванъ Ивановичъ черезъ ступеньку бѣжалъ внизъ по холодной лѣстницѣ. Чортъ, въ худенькомъ пальтишкѣ и шапкѣ гречникомъ, семенилъ за нимъ и все еще болталъ.

— Это вѣрно, смѣшиваю я, смѣшиваю, для правды же, однако, смѣшиваю, дорогой мой... Мыслящему человѣку различить не трудно, что къ чему. Вотъ вы, въ сущности, всегда знаете. Сейчасъ поняли, что, когда правда общественной борьбы вступаетъ въ свои права, не до любвей. Пролетаризація—такъ пролетаризація, а не люмпенпролетаризація, и не до индивиду-

ализаціи тамъ, гдѣ назрѣваетъ послѣдняя соціализація и солидаризація! Гдѣ насилію противопоставляется сила — тамъ не до любви! Не до любви!

— Не до любви! — повторилъ Иванъ Ивановичъ съ разсѣяннымъ хохоткомъ, и, выходя на дворъ и за ворота, даже запѣлъ про себя, какъ то невольно, вдругъ вспомнивъ старую пѣсню:

Нѣтъ, нѣтъ, любовь не дастъ свободы
И нѣтъ спасенія въ любви.
Ты, ненависть, суди народы,
Ты, ненависть, оковы разорви.

Чортъ подхватилъ:

Мы взяли въ руки мечъ:
Пока они не сгнили...

Но у чорта оказался непріятный фальцетъ, къ тому же они вышли на улицу и пѣть больше было нельзя. Иванъ Ивановичъ ринулся къ извощику, на которомъ сидѣла Ольга Ивановна.

— Такъ до свиданья, до скораго свиданья—весело и любезно кричалъ чортъ, махая шляпой. Я тутъ неподалечку на одну минуточку заверну — и сейчасъ же вслѣдъ за вами. До свиданья, до свиданья!

Колеса загрохотали, и чортъ остался одинъ у фонаря. Задумался, какъ будто. Два оборванца вынырнули изъ темноты, подошли къ чорту, хотѣли, кажется заговорить. Но, взглянувъ ему въ лицо—вдругъ оба плюнули и заворчавъ, какъ испуганные псы, шарахнулись назадъ, во мракъ. Чортъ не обратилъ на нихъ ни малѣйшаго вниманія: это, вѣроятно, были люди не по его спеціальности.

905

КОНЕЦЪ